

СТАЛИНГРАД



pocketbook

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Василий Гроссман

Сталинград

Василий Гроссман

Жизнь и судьба

«ЭКСМО»

1960

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гроссман В. С.

Жизнь и судьба / В. С. Гроссман — «Эксмо»,
1960 — (Сталинград)

ISBN 978-5-04-175250-7

Масштабный, эпический роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба», некогда арестованный, со сложной судьбой появления в печати, детективной историей восстановления рукописи, – откровение своей эпохи. Его сравнивают по масштабу охвата событий с «Войной и миром» Льва Толстого. Роман пропитан истинным патриотизмом, свободой духа, неподдельной смелостью выражения мысли. Автор утверждает, что именно социальная покорность ведет к созданию мира зла. Сам факт написания этого произведения доказал, что противостоять тоталитарной системе возможно.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-175250-7

© Гроссман В. С., 1960
© Эксмо, 1960

Содержание

Часть первая	7
1	7
2	8
3	10
4	11
5	16
6	17
7	18
8	20
9	21
10	24
11	28
12	30
13	32
14	36
15	42
16	46
17	49
18	50
19	57
20	59
21	61
22	70
23	71
24	74
25	80
26	84
27	87
28	88
29	90
30	92
31	93
32	95
33	96
34	99
35	100
36	102
37	103
38	109
39	112
40	113
41	123
42	125
43	126
44	129
45	131

46	132
47	133
48	134
49	137
50	139
51	142
52	143
Конец ознакомительного фрагмента.	148

Василий Семенович Гроссман

Жизнь и судьба

Посвящается моей матери Екатерине Савельевне Гроссман

© Гроссман В. С., наследники, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Часть первая

1

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной, и, когда вспыхивал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров, – к нему тянулись, все сгущаясь, провода, шоссе и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завывали далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшеленом. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда – ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое – неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника... Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у турельного пулемета. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

Издали слышались гудки идущего навстречу состава. Машинист сказал помощнику:

– Цуккер идет, я узнаю его по бедовому голосу, разгрузился и гонит на Мюнхен порожняк.

Порожний состав, грохоча, встретился с идущим к лагерю эшеленом, разодранный воздух затрепал, заморгали серые просветы между вагонами, вдруг снова пространство и осенний утренний свет соединились из рваных лоскутов в мерно бегущее полотно.

Помощник машиниста, вынув карманное зеркальце, поглядел на свою запачканную щеку. Машинист движением руки попросил у него зеркальце.

Помощник сказал взволнованным голосом:

– Ах, геноссе Апфель, поверьте мне, мы могли бы возвращаться к обеду, а не в четыре часа утра, выматывая свои силы, если б не эта дезинфекция вагонов. И как будто бы дезинфекцию нельзя производить у нас на узле.

Старику надоел вечный разговор о дезинфекции.

– Давай-ка продолжительный, – сказал он, – нас подают не на запасный, а прямо к главной разгрузочной площадке.

2

В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после Второго Конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. До войны, живя в Ленинграде, ему нечасто приходилось говорить с иностранцами. Ему теперь вспомнились годы лондонской и швейцарской эмиграции: там, в товариществе революционеров, говорили, спорили, пели на многих языках Европы.

Сосед по нарам, итальянский священник Гарди, сказал Мостовскому, что в лагере живут люди пятидесяти шести национальностей.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы и искусственного саго, которое русские заключенные называли «рыбий глаз», – все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных барачков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке: красной – у политических, черной – у саботажников, зеленой – у воров и убийц.

Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба. Знайки молекулярной физики и древних рукописей лежали на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умеющими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел соленую треску, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами и с тоской поглядывали, не идут ли *Kostträger* – носильщики бачков, – «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или с оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска, – у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно.

Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив...

Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников.

Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, – преступники, не совершившие преступлений.

Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они бы могли все это сделать.

Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары Красной Армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями.

В лагере находились саботажники – прогульщики, пытавшиеся самовольно покинуть работу на военных заводах и строительствах. Заключение в концентрационные лагеря рабочих за плохую работу было также приобретением национал-социализма.

В лагере находились люди с сиреневыми лоскутами на куртках – немецкие эмигранты, уехавшие из фашистской Германии. И в этом было нововведение фашизма – покинувший Германию, как бы лояльно он ни вел себя за границей, становился политическим врагом.

Люди с зелеными полосами на куртках, – воры и взломщики, были в политическом лагере привилегированной частью; комендатура опиралась на них в надзоре над политическими.

Во власти уголовного над политическим заключенным также проявлялось новаторство национал-социализма.

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и индусу, заклинателю змей, персу, приехавшему из Тегерана изучать германскую живопись, китайцу, студенту-физику, национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы на плантаже.

Днем и ночью шло движение эшелонов к лагерям смерти, к концентрационным лагерям. В воздухе стояли стук колес, рев паровозов, гул сапог сотен тысяч лагерников, идущих на работу с пятизначными цифрами синих номеров, пришитых к одежде. Лагеря стали городами Новой Европы. Они росли и ширились со своей планировкой, со своими переулками и площадями, больницами, со своими базарами-барахолками, крематориями и стадионами.

Какими наивными и даже добродушно-патриархальными казались ютившиеся на городских окраинах старинные тюрьмы в сравнении с этими лагерными городами, по сравнению с багрово-черным, сводившим с ума заревом над кремационными печами.

Казалось, что для управления громадой репрессированных нужны огромные, тоже почти миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так. Неделями внутри бараков не появлялись люди в форме СС! Сами заключенные приняли на себя полицейскую охрану в лагерных городах. Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бараках, следили, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая и мерзлая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Заключенные были врачами, бактериологами в каторжных больницах и лабораториях, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных машин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция – капо, носившая на левых рукавах широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, штубенэльтеры – охватывала своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных дел до частных событий, происходящих ночью на нарах. Заключенные допускались к сокровенным делам лагерного государства – даже к составлению списков на селекцию, к обработке подследственных в дункелькамерах – бетонных пеналах. Казалось, исчезни начальство, заключенные будут поддерживать ток высокого напряжения в проволоке, чтобы не разбежаться, а работать.

Эти капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже и плакали по тем, кого отводили к кремационным печам... Однако раздвоение это не шло до конца, своих имен в списки на селекцию они не вставляли. Особо зловещим казалось Михаилу Сидоровичу то, что национал-социализм не приходил в лагерь с моноклем, по-юнкерски надменный, чуждый народу. Национал-социализм жил в лагерях по-свойски, он не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, и шуткам его смеялись, он был плебеем и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил свободы.

3

Мостовского, Агриппину Петровну, военного врача Левинтон и водителя Семенова после того, как они были задержаны немцами августовской ночью на окраине Сталинграда, доставили в штаб пехотной дивизии.

Агриппину Петровну после допроса отпустили, и по указанию сотрудника полевой жандармерии переводчик снабдил ее буханкой горохового хлеба и двумя красными тридцатками; Семенова присоединили к колонне пленных, направлявшихся в шталаг в районе хутора Вертячего. Мостовского и Софью Осиповну Левинтон отвезли в штаб армейской группы.

Там Мостовской в последний раз видел Софью Осиповну – она стояла посреди пыльного двора, без пилотки, с сорванными знаками различия, и восхитила Мостовского угрюмым, злобным выражением глаз и лица.

После третьего допроса Мостовского погнали пешком к станции железной дороги, где грузился эшелон с зерном. Десять вагонов были отведены под направленных на работу в Германию девушек и парней – Мостовской слышал женские крики при отправлении эшелона. Его заперли в маленькое служебное купе жесткого вагона. Сопровождавший его солдат не был груб, но при вопросах Мостовского на лице его появлялось какое-то глухонемое выражение. Чувствовалось при этом, что он целиком занят одним лишь Мостовским. Так опытный служащий зоологического сада в постоянном молчаливом напряжении следит за ящиком, в котором шуршит, шевелится зверь, совершающий путешествие по железной дороге. Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир – польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по-русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани.

В лагерь Мостовского привезли, минуя Берлин... Казалось, уже годы прошли в блоке, где содержались особо интересные для гестапо заключенные. В особом блоке жизнь шла сытнее, чем в рабочем лагере, но это была легкая жизнь лабораторных мучеников-животных. Человека кликнет дежурный к двери – оказывается, приятель предлагает по выгодному паритету обменять табачок на пайку, и человек, ухмыляясь от удовольствия, возвращается на свои нары. А второго точно так же окликнут, и он, прервав беседу, отойдет к дверям, и уже собеседник не дожидается окончания рассказа. А через денек подойдет к нарам капо, велит дежурному собрать тряпье, и кто-нибудь искательно спросит у штубенэльтера Кейзе, можно ли занять освободившиеся нары? Привычна стала дикая смесь разговоров о селекции, кремации трупов и о лагерных футбольных командах, – лучшая: плантаж – Moorsoldaten¹, силен ревир, лихое нападение у кухни, польская команда «працефикс» не имеет защиты. Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди национал-социалистических лидеров. Слухи всегда были хороши и лживы, – опиум лагерного народа.

¹ Болотные солдаты (нем.).

4

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Русские почувствовали радость и печаль. Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок, побелила крыши бараков, и они издали выглядели домашними, по-деревенски.

Но блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали.

К Мостовскому подошел дневальный, испанский солдат Андреа, и сказал на ломаном французском языке, что его приятель писарь видел бумагу о русском старике, но писарь не успел прочесть ее, начальник канцелярии прихватил ее с собой.

«Вот и решение моей жизни в этой бумажке», – подумал Мостовской и порадовался своему спокойствию.

– Но ничего, – сказал шепотом Андреа, – еще можно узнать.

– У коменданта лагеря? – спросил Гарди, и его огромные глаза блеснули чернотой в полутьме. – Или у самого представителя Главного управления безопасности Лисса?

Мостовского удивляло различие между дневным и ночным Гарди. Днем священник говорил о супе, о вновь прибывших, сговаривался с соседями об обмене пайки, вспоминал острую, прочесоченную итальянскую еду.

Военнопленные красноармейцы, встречая его на лагерной площадке, знали его любимую поговорку: «тути капутти», и сами издали кричали ему: «Папаша Падре, тути капутти», – и улыбались, словно слова эти обнадеживали. Называли они его – папаша Падре, считая, что «падре» его имя.

Как-то поздним вечером содержащиеся в особом блоке советские командиры и комиссары стали подшучивать над Гарди, действительно ли он соблюдал обет безбрачия.

Гарди без улыбки слушал лоскутный набор французских, немецких и русских слов.

Потом он заговорил, и Мостовской перевел его слова. Ведь русские революционеры ради идеи шли на каторгу и на эшафот. Почему же его собеседники сомневаются, что ради религиозной идеи человек может отказаться от близости с женщиной? Ведь это несравнимо с жертвой жизни.

– Ну, не скажите, – проговорил бригадный комиссар Осипов.

Ночью, когда лагерники засыпали, Гарди становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его иступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного города. Жилы напрягались на его коричневой шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства. Молился он долго, и Михаил Сидорович засыпал под негромкий быстрый шепот итальянца. Просыпался Мостовской обычно, поспав полтора-два часа, и тогда Гарди уже спал. Спал итальянец бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно выпускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божьей Матери.

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто расспрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквях и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у Синода.

Его черные глаза с печалью смотрели на старого коммуниста, и Михаил Сидорович сердито спрашивал:

– Vous me comprenez?²

Гарди улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и о соусе из помидоров.

– Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement, pourquoi vous dites cela³.

Находившиеся в особом блоке русские военнопленные не были освобождены от работ, и поэтому Мостовской виделся и разговаривал с ними лишь в поздние вечерние и ночные часы. На работу не ходили генерал Гудзь и бригадный комиссар Осипов.

Частым собеседником Мостовского был странный, неопределенного возраста человек – Иконников-Морж. Спал он на худшем месте во всем бараке – у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой – параша.

Русские заключенные называли Иконникова «старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с брезгливой жалостью. Он обладал невероятной выносливостью, той, которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким и ясным голосом может действительно говорить лишь безумный.

Познакомился он с Мостовским таким образом: Иконников-Морж подошел к Мостовскому и молча долго всматривался ему в лицо.

– Что скажет доброго товарищ? – спросил Михаил Сидорович и усмехнулся, когда Иконников нараспев произнес:

– Сказать доброе? А что есть добро?

Слова эти вдруг перенесли Михаила Сидоровича в пору детства, когда приезжавший из семинарии старший брат заводил с отцом спор о богословских предметах.

– Вопрос с седой бородкой, – сказал Мостовской, – о нем еще думали буддисты и первые христиане. Да и марксисты немало потрудились над его разрешением.

– И решили? – с интонацией, рассмешившей Мостовского, спросил Иконников.

– Вот Красная Армия, – сказал Мостовской, – сейчас решает его. А в тоне вашем, простите, содержится некий елей, нечто этакое, не то поповское, не то толстовское.

– Иначе не может быть, – сказал Иконников, – ведь я был толстовцем.

– Вот так фунт, – сказал Михаил Сидорович. Станный человек заинтересовал его.

– Видите ли, – сказал Иконников, – я убежден, что гонения, которые большевики проводили после революции против церкви, были полезны для христианской идеи, ведь церковь пришла в жалкое состояние перед революцией.

Михаил Сидорович добродушно сказал:

– Да вы прямо диалектик. Вот и мне пришлось увидеть евангельское чудо на старости лет.

– Нет, – хмуро проговорил Иконников. – Ведь для вас цель ваша оправдывает средства, а средства ваши безжалостны. Во мне вы не видите чуда – я не диалектик.

– Так, – сказал, внезапно раздражаясь, Мостовской, – чем же, однако, могу вам служить?

Иконников, стоя в позе военного, принявшего положение «смирно», сказал:

– Не смейтесь надо мной! – горестный голос его прозвучал трагично. – Я не ради шуток подошел к вам. Пятнадцатого сентября прошлого года я видел казнь двадцати тысяч евреев – женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что его нет. В сегодняшнем мраке я вижу вашу силу, она борется со страшным злом...

– Ну что ж, – сказал Михаил Сидорович, – поговорим.

² Вы меня понимаете? (фр.)

³ Я понимаю все, что вы говорите, я не понимаю только, почему вы это говорите (фр.).

Иконников работал на плантаже, в болотистой части прилагерных земель, где прокладывалась система огромных бетонированных труб для отвода реки и грязных ручейков, заболачивающих низменность. Рабочих на этом участке называли «Moorsoldaten», обычно сюда попадали люди, пользовавшиеся нерасположением начальства.

Руки Иконникова были маленькие, с тонкими пальцами, с детскими ногтями. Он возвращался с работы замазанный глиной, мокрый, подходил к нарам Мостовского и спрашивал:

– Разрешите посидеть возле вас?..

Он садился и улыбался, не глядя на собеседника, проводил рукой по лбу. Лоб у него был какой-то удивительный – не очень большой, выпуклый, светлый, такой светлый, точно существовал отдельно от грязных ушей и рук с обломанными ногтями, темно-коричневой шеи.

Советским военнопленным, людям с простой биографией, он казался человеком неясным и темным.

Предки Иконникова со времен Петра Великого были из рода в род священниками. Лишь последнее поколение Иконниковых пошло другой дорогой – все братья Иконникова по желанию отца получили светское образование.

Иконников учился в Петербургском технологическом институте, но увлекся толстовством, ушел с последнего курса и отправился на север Пермской губернии народным учителем. Он прожил в деревне около восьми лет, а затем перебрался на юг, в Одессу, поступил на грузовой пароход слесарем в машинное отделение, побывал в Индии, в Японии, жил в Сиднее. После революции он вернулся в Россию, вступил в крестьянскую земледельческую коммуны. Эта была его давняя мечта, он верил, что сельскохозяйственный коммунистический труд приведет к Царству Божьему на земле.

Во время всеобщей коллективизации он увидел эшелоны, набитые семьями раскулаченных. Он видел, как падали в снег изможденные люди и уже не вставали. Он видел «закрытые», вымершие деревни с заколоченными окнами и дверями. Он видел арестованную крестьянку, оборванную женщину с жилистой шеей, с трудовыми, темными руками, на которую с ужасом смотрели конвоиры: она съела, обезумев от голода, своих двоих детей.

В эту пору он, не покидая коммуны, стал проповедовать Евангелие, молить Бога о спасении гибнущих. Кончилось дело тем, что его посадили, но оказалось, что бедствия тридцатых годов помutilи его разум. После года принудительного лечения в тюремной психиатрической больнице он вышел на волю и поселился в Белоруссии у старшего брата, профессора-биолога, устроился с его помощью на работу в технической библиотеке. Но мрачные события произвели на него чрезвычайное впечатление.

Когда началась война и немцы захватили Белоруссию, Иконников увидел муки военнопленных, казни евреев в городах и местечках Белоруссии. Он вновь впал в какое-то истерическое состояние и стал умолять знакомых и незнакомых людей прятать евреев, сам пытался спасти еврейских детей и женщин. На него вскоре донесли, и, каким-то чудом избегнув виселицы, он попал в лагерь.

В голове оборванного и грязного «парашютиста» царил хаос, он утверждал нелепые и комичные категории надклассовой морали.

– Там, где есть насилие, – объяснял Иконников Мостовскому, – царит горе и льется кровь. Я видел великие страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту.

– Будем, следуя вашему совету, ужасаться, что во имя добра вздернут Гитлера и Гимmlера. Ужасайтесь уж без меня, – отвечал Михаил Сидорович.

– Спросите Гитлера, – сказал Иконников, – и он вам объяснит, что и этот лагерь ради добра.

Мостовскому казалось, что во время спора с Иконниковым работа его логики становится похожа на бессмысленные усилия ножа, борющегося с медузой.

– Мир не поднялся выше истины, высказанной сирийским христианином, жившим в шестом веке, – повторял Иконников, – «Осуди грех и прости грешника».

В бараке находился еще один русский старик – Чернецов. Он был одноглазым. Охранник разбил ему искусственный, стеклянный глаз, и пустая красная глазница страшно выглядела на его бледном лице. Разговаривая, он прикрывал зияющую пустую глазницу ладонью.

Это был меньшевик, бежавший из Советской России в 1921 году. Двадцать лет он прожил в Париже, работал бухгалтером в банке. Попал он в лагерь за призыв к служащим банка саботировать распоряжения новой немецкой администрации. Мостовской старался с ним не сталкиваться.

Одноглазого меньшевика, видимо, тревожила популярность Мостовского, – и солдат-испанец, и норвежец, владелец писчебумажной лавки, и адвокат-бельгиец тянулись к старому большевику, расспрашивали его.

Однажды к Мостовскому на нары сел верховодивший среди русских военнопленных майор Ершов, – немного привалившись к Мостовскому и положив руку ему на плечо, он быстро и горячо говорил.

Мостовской внезапно оглянулся, – с дальних нар смотрел на них Чернецов. Мостовскому подумалось, что выражение тоски в его зрячем глазу страшней, чем красная зиявшая яма на месте выбитого глаза.

«Да, брат, невесело тебе», – подумал Мостовской и не испытал злорадства.

Не случай, конечно, а закон определил, что Ершов всем всегда нужен. «Где Ершов? Ерша не видели? Товарищ Ершов! Майор Ершов! Ершов сказал... Спроси Ершова...» К нему приходят из других барakov, вокруг его нар всегда движение.

Михаил Сидорович окрестил Ершова: властитель дум. Были властители дум – шестидесятники, были – восьмидесятники. Были народники, был да сплыл Михайловский. И в гитлеровском концлагере есть свой властитель дум! Одиночество одноглазого казалось в этом лагере трагическим символом.

Десятки лет прошли с поры, когда Михаил Сидорович впервые сидел в царской тюрьме, – даже век был тогда другой – девятнадцатый.

Сейчас он вспоминал о том, как обижался на недоверие некоторых руководителей партии к его способности вести практическую работу. Он чувствовал себя сильным, он каждый день видел, как веско было его слово для генерала Гудзя, и для бригадного комиссара Осипова, и для всегда подавленного и печального майора Кириллова.

До войны его утешало, что, удаленный от практики, он меньше соприкасается со всем тем, что вызывало его протест и несогласие, – и единовластие Сталина в партии, и кровавые процессы оппозиции, и недостаточное уважение к старой партийной гвардии. Он мучительно переживал казнь Бухарина, которого хорошо знал и очень любил. Но он знал, что, противопоставив себя партии в любом из этих вопросов, он, помимо своей воли, окажется противопоставлен ленинскому делу, которому отдал жизнь. Иногда его мучили сомнения, – может быть, по слабости, по трусости молчит он и не выступает против того, с чем не согласен. Ведь многое в довоенной жизни было ужасно! Он часто вспоминал покойного Луначарского, – как хотелось ему вновь увидеть его, с Анатолием Васильевичем так легко было говорить, так быстро, с полуслова, понимали они друг друга.

Теперь, в страшном немецком лагере, он чувствовал себя уверенным и крепким. Лишь одно томящее ощущение не оставляло его. Он и в лагере не мог вернуть молодого, ясного и круглого чувства: свой среди своих, чужой среди чужих.

Тут дело было не в том, что однажды английский офицер спросил его, не мешало ли ему заниматься философской наукой то, что в России запрещено высказывать антимарксистские взгляды.

– Кому-нибудь, может быть, это и мешает. А мне, марксисту, не мешает, – ответил Михаил Сидорович.

– Я задал этот вопрос, именно имея в виду, что вы старый марксист, – сказал англичанин. И хотя Мостовской поморщился от болезненного чувства, вызванного этими словами, он сумел ответить англичанину.

Тут дело было не в том, что такие люди, как Осипов, Гудзь, Ершов, иногда тяготили его, хотя они были кровно близки ему. Беда была в том, что многое в его собственной душе стало для него чужим. Случалось, в мирные времена он, радуясь, встречался со старым другом, а в конце встречи видел в нем чужого.

Но как поступить, когда чуждое сегодняшнему дню жило в нем самом, было частью его самого... С собой ведь не порвешь, не перестанешь встречаться.

При разговорах с Иконниковым он раздражался, бывал груб, насмешлив, обзывал его тюрей, размазней, киселем, шляпой. Но, насмехаясь над ним, он в то же время скучал, когда долго не видел его.

В этом было главное изменение между его тюремными годами в молодости и нынешним временем.

В молодую пору в друзьях и единомышленниках все было близко, понятно. Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики.

А теперь вдруг он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей.

«Это, должно быть, оттого, что я слишком долго живу на свете», – думал Мостовской.

5

Американский полковник жил в отдельном боксе особого барака. Ему разрешали свободно выходить из барака в вечернее время, кормили особым обедом. Говорили, что по его поводу был сделан запрос из Швеции, – президент Рузвельт просил о нем через шведского короля.

Полковник однажды отнес плитку шоколада больному русскому майору Никонову. Его в особом бараке интересовали больше всего русские военнопленные. Он пытался заводить с русскими разговор о немецкой тактике и о причинах неудач первого года войны.

Он часто заговаривал с Ершовым и, глядя в умные, одновременно серьезные и веселые глаза русского майора, забывал, что тот не понимает по-английски.

Ему казалось странным, как же не понимает его человек с таким умным лицом, да еще не понимает разговора о предметах, которые сильно волнуют обоих.

– Неужели вы ни черта не понимаете? – огорченно спрашивал он.

Ершов по-русски отвечал ему:

– Наш уважаемый сержант владел всеми языками, кроме иностранных.

Но все же на языке, состоящем из улыбок, взглядов, похлопываний по спине и десятка-полтора исковерканных русских, немецких, английских и французских слов, разговаривали о товариществе, сочувствии, помощи, о любви к дому, женам, детям – лагерные русские люди с людьми десятков разноязычных национальностей.

«Камрад, гут, брот, зупэ, киндер, сигарет, арбайт» да еще с дюжину немецких слов, рожденных в лагерях: ревир, блокэльтерсте, капо, фернихтунгслагер, аппель, аппельплац, вахраум, флюгпункт, лагершутце, – хватало, чтобы выразить особо важное в простой и запутанной жизни лагерных людей.

Были и русские слова – ребята, табачок, товарищ, – которыми пользовались заключенные многих национальностей. А русское слово «доходяга», определявшее состояние близкого к смерти лагерника, стало общим для всех, завоевало все 56 лагерных национальностей.

С набором в десяток-полтора слов великий немецкий народ вторгся в города и деревни, населенные великим русским народом, и миллионы русских деревенских баб, стариков, детей и миллионы немецких солдат объяснялись словами – «матка, пан, руки вверх, курка, яйка, капут». Ничего доброго из этого объяснения не получалось. Но великому немецкому народу хватало этих слов для того дела, которое он совершал в России.

Но так же ничего хорошего не получалось из того, что Чернецов пытался заговаривать с советскими военнопленными, – хотя он за двадцать лет эмиграции не забыл русского языка, а превосходно владел русской речью. Он не мог понять советских военнопленных, они чуждались его.

И так же не могли договориться советские военнопленные – одни, готовые умереть, но не изменить, другие, помышлявшие вступить во власовские войска. Чем больше говорили они и спорили, тем меньше понимали они друг друга. А потом уже они молчали, полные ненависти и презрения друг к другу.

В этом мычании немых и в речах слепых, в этом густом смешении людей, объединенных ужасом, надеждой и горем, в непонимании ненависти людей, говорящих на одном языке, трагически выражалось одно из бедствий двадцатого века.

6

В день, когда выпал снег, вечерние разговоры русских военнопленных были особенно печальны.

Даже полковник Златокрылец и бригадный комиссар Осипов, всегда собранные, полные душевной силы, стали угрюмы и молчаливы. Тоска подмяла всех.

Артиллерист майор Кириллов сидел на нарах Мостовского, опустив плечи, и тихонько покачивал головой. Казалось, не только темные глаза, но все огромное его тело было полно тоской.

Подобное выражение глаз бывает у безнадежных раковых больных – глядя в такие глаза, даже самые близкие люди, сострадая, думают: скорей бы ты умер.

Желтолицый и вездесущий Котиков, указывая на Кириллова, шепотом сказал Осипову:

– Либо повесится, либо к власовцам метнется.

Мостовской, потирая седые щетинистые щеки, проговорил:

– Слушайте меня, казачки. А ведь, право, хорошо. Неужели не понимаете? Каждый день жизни государства, созданного Лениным, невыносим для фашизма. У него нет выбора, – либо сожрать нас, уничтожить, либо самому погибнуть. Ведь в ненависти к нам фашизма проверка правильности дела Ленина. Еще одна, и нешуточная. Поймите вы, чем больше к нам ненависть фашистов, тем уверенней мы должны быть в своей правоте. И мы осилим.

Он резко повернулся к Кириллову, сказал:

– Ну что ж это вы, а? Помните у Горького, когда он ходил по тюремному двору, какой-то грузин кричал: «Что ты ходишь таким курицам, ходы голова вверх!»

Все рассмеялись.

– Верно, верно, давайте головы вверх, – сказал Мостовской. – Вы подумайте – огромное, великое Советское государство защищает коммунистическую идею! Пусть Гитлер справится с ним и с ней. Сталинград стоит, держится. Казалось иногда перед войной: не слишком ли круто, не слишком ли жестоко закрутили мы гайки? Но уж, действительно, и слепым теперь видно – цель оправдала средства.

– Да, гайки подкрутили у нас крепко. Это вы верно сказали, – проговорил Ершов.

– Мало подкрутили, – сказал генерал Гудзь. – Еще крепче надо бы, тогда б до Волги не дошел.

– Не нам Сталина учить, – сказал Осипов.

– Ну вот, – сказал Мостовской. – А если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, тут уж ничего не попишешь. Не об этом нам надо думать.

– А о чем? – громко спросил Ершов.

Сидевшие переглянулись, оглянулись, помолчали.

– Эх, Кириллов, Кириллов, – сказал вдруг Ершов. – Верно наш отец сказал: мы радоваться должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь? А ты подумай, – попасть к своим в лагерь, свой к своим. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие, еще дадим немцу жизни.

7

Весь день у командования 62-й армии не было связи с частями. Вышли из строя многие штабные радиоприемники; проводочная связь повсеместно нарушилась.

Бывали минуты, когда люди, глядя на текучую, покрытую мелкой волной Волгу, ощущали реку как неподвижность, у берега которой зыбилась трепещущая земля. Сотни советских тяжелых орудий вели огонь из Заволжья. Над немецким расположением у южного склона Мамаева кургана вздымались комья земли и глины.

Клубящиеся земляные облака, проходя сквозь дивное, незримое сито, созданное силой тяготения, образовывали рассев – тяжелые глыбы, комки рушились на землю, а легкая взвесь подымалась в небо.

По несколько раз на день оглушенные, с воспаленными глазами красноармейцы встречали немецкие танки и пехоту.

Для командования, оторванного от войск, день казался томительно длинным.

Чем только не пытались Чуйков, Крылов и Гуров заполнить этот день – создавали видимость дела, писали письма, спорили о возможных передвижениях противника, шутили, и водку пили с закуской и без закуски, и молчали, прислушиваясь к грому бомбежки. Железный вихрь был вокруг блиндажа, косил все живое, на миг подымавшее голову над поверхностью земли. Штаб был парализован.

– Давайте в подкидного сыграем, – сказал Чуйков и отодвинул в угол стола объемистую пепельницу, полную окурков.

Даже начальнику штаба армии Крылову изменило спокойствие. Постукивая пальцем по столу, он сказал:

– Нет хуже положения – вот так ждать, как бы не схарчили.

Чуйков раздал карты, объявил: «Черва козырь», потом вдруг смешал колоду, проговорил:

– Сидим, как зайчишки, и играем в картишки. Нет, не могу!

Он сидел задумавшись. Лицо его казалось ужасным, такое выражение ненависти и муки отразилось на нем.

Гуров, словно предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил:

– Да, после такого денька можно от разрыва сердца умереть.

Потом он рассмеялся, сказал:

– В дивизии днем в уборную выйти – страшное, невыносимое дело! Мне рассказывали: начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж, крикнул: «Ура, ребята, я посрал!» Поглядел, а в блиндаже докторша сидит, в которую он влюблен.

С темнотой налеты немецкой авиации прекратились. Вероятно, человек, попавший ночью на сталинградский берег, подавленный грохотом и треском, вообразил бы, что недобрая судьба привела его в Сталинград в час решающей атаки, но для военных старожилов это было время бритья, постирушек, писания писем, время, когда фронтовые слесари, токари, паяльщики, часовщики мастерили зажигалки, мундштуки, светильники из снарядных гильз с фитилями из шинельного сукна, чинили ходики.

Мерцающий огонь разрывов освещал береговой откос, развалины города, нефтяные баки, заводские трубы, и в этих коротких вспышках побережье и город казались зловещими и угрюмыми.

В темноте ожил армейский узел связи, затрещали пишущие машинки, размножающие копии боевых донесений, зажужжали движки, затарахтела морзянка, и телефонисты перекликались по линиям – подключали в сеть командные пункты дивизий, полков, батарей, рот... Степенно покашливали прибывшие в армейский штаб связные, докладывали оперативным дежурным офицеры связи.

Заспешили на доклад к Чуйкову и Крылову старик Пожарский, командующий артиллерией армии, и начальник смертных переправ инженерный генерал Ткаченко, и новосел в зеленой солдатской шинельке, командир сибирской дивизии Гуртьев, и сталинградский старожил подполковник Батюк, стоявший со своей дивизией под Мамаевым курганом. Зазвучали в политдонесениях члену Военного совета армии Гурову знаменитые сталинградские имена – минометчика Бездидько, снайперов Василия Зайцева и Анатолия Чехова, сержанта Павлова, и рядом с ними назывались имена людей, впервые произнесенные в Сталинграде, – Шонина, Власова, Брысина, которым первый их сталинградский день принес военную славу. А на переднем крае сдавали почтальонам равнобедренные бумажные треугольники – «лети, листок, с запада на восток... лети с приветом, вернись с ответом... добрый день, а может быть, и вечер...». На переднем крае хоронили погибших, и убитые проводили первую ночь своего вечного сна рядом с блиндажами и укрытиями, где товарищи их писали письма, брились, ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных банях.

8

Пришли самые тяжелые дни защитников Сталинграда.

В неразберихе городского сражения, атак и контратак, в борьбе за Дом специалиста, за мельницу, здание Госбанка, в борьбе за подвалы, дворы, площади стал несомненен перевес немецких сил.

Немецкий клин, вколотый в южной части Сталинграда у сада Лапшиных, Купоросной Балки и Ельшанки, ширился, и немецкие пулеметчики, укрывшись у самой воды, обстреливали левый берег Волги южнее Красной Слободы. Оперативщики каждый день отмечали на картах линию фронта, видели, как неуклонно наползали синие отметины и все таяла, утончалась полоса между красной чертой советской обороны и голубизной Волги.

Инициатива, душа войны, в эти дни была в руках у немцев. Они ползли и ползли вперед, и вся ярость советских контратак не могла остановить их медленного, но отвратительно несомненного движения.

А в небе от восхода до заката ныли немецкие пикировщики, долбили горестную землю фугасными бомбами. И в сотнях голов жила колючая, жестокая мысль о том, что же будет завтра, через неделю, когда полоска советской обороны превратится в нитку, порвется, искрошенная железными зубами немецкого наступления.

9

Поздно ночью генерал Крылов прилег в своем блиндаже на койку. В висках ломило, покалывало в горле от десятков выкуренных папирос. Крылов провел языком по сухому небу и повернулся к стене. Дремота смешала в памяти Крылова севастопольские и одесские бои, крик штурмующей румынской пехоты, мощенные камнем, поросшие плющом одесские дворы и матросскую красоту Севастополя.

Ему померещилось, что он вновь на командном пункте в Севастополе, и в сонном тумане поблескивали стекла пенсне генерала Петрова; сверкнувшее стекло заблестело тысячами осколков, и уже колыхалось море, и серая пыль от расколотого немецкими снарядами скального камня поплыла над головами моряков и солдат, встала над Сапун-горой.

Послышался бездушный плеск волны о борт катера и грубый голос моряка-подводника: «Прыгай!» Казалось, что прыгнул он в волну, но нога тотчас коснулась корпуса подводной лодки... И последний взгляд на Севастополь, на звезды в небе, на береговые пожары...

Крылов заснул. Во сне продолжалась власть войны. Подводная лодка уходила из Севастополя в Новороссийск... Он поджимал затекшие ноги, грудь и спина взмокли от пота, шум двигателя бил в виски. И вдруг двигатель замер – лодка мягко легла на дно. Духота стала невыносима, давил металлический свод, деленный на квадраты пунктиром клепки...

Он услышал многоголосый рев, плеск, – взорвалась глубинная бомба, вода ударила, сбросила его с койки. Крылов открыл глаза: кругом был огонь, мимо распахнутой двери блиндажа бежал к Волге поток пламени, слышались крики людей, стрекотание автоматов.

– Шинелью, шинелью голову закрой! – закричал Крылову незнакомый красноармеец, протягивая шинель. Но Крылов, отстраняя красноармейца, закричал:

– Где командующий?

Вдруг он понял: немцы подожгли нефтебаки, и горящая нефть хлынула к Волге.

Казалось, не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей ямы и воронки, хлеставшей по ходам сообщения. Земля, глина, камень, пропитываясь нефтью, начинали дымить. Нефть вываливалась черными, глянцевитыми струями из прошитых зажигательными пулями хранилищ, и казалось, это разворачиваются огромные рулоны огня и дыма, укупоренные в цистернах.

Жизнь, которая торжествовала на земле сотни миллионов лет тому назад, грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ, вырвалась из могильных толщ, вновь редела, топча ножищами, выла, жадно жрала все вокруг себя. Огонь подымался на много сотен метров вверх, унося облака горячего пара, которые взрывоподобно вспыхивали высоко в небе. Масса пламени была так велика, что воздушный вихрь не успевал подавать к горящим углеродистым молекулам кислород, и плотный колышущийся черный свод отделил осеннее звездное небо от горевшей земли. Жутко было смотреть снизу на эту струящуюся, жирную и черную твердь.

Огненные и дымовые столбы, стремясь вверх, то принимали мгновеньями очертания живых, охваченных отчаянием и яростью существ, то казались дрожащими тополями, трепещущими осинами. Черное и красное кружилось в лоскутах огня подобно слившимся в пляске черным и рыжим растрепанным девкам.

Горящая нефть плоско расплывалась по воде и, подхваченная течением, шипела, дымила, затравленно извивалась.

Удивительно, что в эти минуты уже многие бойцы знали, как можно пробраться к берегу. Они кричали: «Сюда, сюда беги, вот по этой тропке!»; некоторые люди успели два-три раза подняться к пылавшим блиндажам, помогали штабным добираться до выступа на берегу, где в огненной развилке упершихся в Волгу нефтяных потоков стояла кучка спасшихся.

Люди в ватниках помогли спуститься к берегу командующему армией и офицерам штаба. Эти люди на руках вынесли из огня генерала Крылова, которого уже считали погибшим, и, поморгав обгоревшими ресницами, вновь продирались сквозь чащу красного шиповника к штабным блиндажам.

До утра простояли на маленьком выступе земли у самой Волги работники штаба 62-й армии. Прикрывая лицо от раскаленного воздуха, сбивая с одежды искры, они оглядывались на командующего армией. Он был одет в красноармейскую шинель внакидку, из-под фуражки выбивались на лоб волосы. Нахмуренный, угрюмый, он казался спокойным и задумчивым.

Гуров сказал, оглядывая стоящих:

– И в огне мы, оказывается, не горим... – и пощупал горячие пуговицы шинели.

– Эй, боец с лопатой, – крикнул начальник инженерной службы генерал Ткаченко, – копайте скоренько тут канавку, а то еще потечет огонь с той горки!

Он сказал Крылову:

– Все смешалось, товарищ генерал, огонь течет, как вода, а Волга огнем жжет. Счастье, что сильного ветра нет, а то попало бы нас всех.

Когда ветерок набегал с Волги, тяжеловесный шатер пожара колыхался, клонился, и люди шарахались от обжигающего пламени.

Некоторые, подходя к берегу, смачивали водой сапоги, и она испарялась с горячих голенищ. Одни молчали, упершись взором в землю, другие все озирались, третьи, преодолевая напряжение, шутили: «Здесь и спичек не надо, можно прикурить и от Волги, и от ветерка», четвертые ощупывали себя, покачивали головой, ощущая жар металлических пряжек на ремнях.

Послышалось несколько взрывов, это рвались в блиндажах батальона охраны штаба ручные гранаты. Потом затрещали патроны в пулеметных лентах. Просвистела сквозь огонь немецкая мина и взорвалась далеко в Волге. Мелькали сквозь дым далекие фигуры людей на берегу, – видимо, кто-то пытался отвести огонь от командного пункта, а через миг вновь все исчезало в дыму и огне.

Крылов, вглядываясь в льющийся вокруг огонь, уж не вспоминал, не сравнивал... Не вздумали ли немцы приноровить к пожару наступление? Немцы не знают, в каком положении находится командование армии, вчерашний пленный не верил, что штаб армии находится на правом берегу... Очевидно, частная операция, значит, есть шансы дожить до утра. Только бы не поднялся ветер.

Он оглянулся на стоящего рядом Чуйкова, тот всматривался в гудевший пожар; лицо его, испачканное копотью, казалось раскаленным, медным. Он снял фуражку, провел рукой по волосам и стал похож на потного деревенского кузнеца; искры прыгали над его курчавой головой. Вот он поглядел вверх на шумный огненный купол, оглянулся на Волгу, где среди змеящихся огней проступали прорывы тьмы. Крылову подумалось, что командарм напряженно решает те же вопросы, что тревожили его: начнут ли немцы ночью большое наступление... Где разместить штаб, если придется дожить до утра...

Чуйков, почувствовав взгляд начальника штаба, улыбнулся ему и сказал, обведя рукой широкий круг повыше головы:

– Красиво, здорово, черт, а?

Пламя пожара хорошо было видно из Красного Сада, в Заволжье, где располагался штаб Сталинградского фронта. Начальник штаба генерал-лейтенант Захаров, получив первое сообщение о пожаре, доложил об этом Еременко, и командующий попросил Захарова лично пойти на узел связи и переговорить с Чуйковым. Захаров, шумно дыша, торопливо шел по тропинке. Адъютант, светя фонариком, время от времени произносил: «Осторожно, товарищ генерал», – и отводил рукой нависавшие над тропинкой ветви яблонь. Далекое зарево освещало стволы деревьев, ложилось розовыми пятнами на землю. Этот неясный свет наполнял душу трево-

гой. Тишина, стоявшая вокруг, нарушаемая лишь негромкими окликающими часовых, придавала какую-то особо томящую силу немому бледному огню.

На узле связи дежурная, глядя на тяжело дышавшего Захарова, сказала, что с Чуйковым нет связи – ни телефонной, ни телеграфной, ни беспроволочной...

– С дивизиями? – отрывисто спросил Захаров.

– Только что, товарищ генерал-лейтенант, была связь с Батюком.

– Давайте, живо!

Дежурная, боясь глядеть на Захарова и уже уверенная, что тяжелый и раздражительный характер генерала сейчас разыграется, вдруг радостно сказала:

– Есть, пожалуйста, товарищ генерал, – и протянула трубку Захарову.

С Захаровым говорил начальник штаба дивизии. Он, как и девушка-связистка, оробел, услышав тяжелое дыхание и властный голос начальника штаба фронта.

– Что там у вас происходит, докладывайте. Есть связь с Чуйковым?

Начальник штаба дивизии доложил о пожаре на нефтебаках, о том, что огненный вал обрушился на командный пункт штаба армии, что у дивизии нет связи с командармом, что, видимо, не все там погибли, так как через огонь и дым видны люди, стоящие на берегу, но ни с суши, ни с Волги на лодке к ним подобраться нельзя – Волга горит. Батюк ушел берегом с ротой охраны штаба на пожар, чтобы попытаться отвести огненный поток и помочь выбраться из огня людям, стоящим на берегу.

Захаров, выслушав начальника штаба, проговорил:

– Передайте Чуйкову, если он жив, передайте Чуйкову... – и замолчал.

Девушка-связистка, удивленная длинной паузой и ожидая раската хриплого генеральского голоса, опасливо поглядела на Захарова, – он стоял, приложив платок к глазам.

В эту ночь сорок штабных командиров погибли среди огня в обрушившихся блиндажах.

10

Крымов попал в Сталинград вскоре после пожара нефтехранилищ.

Чуйков разместил новый командный пункт армии под волжским откосом, в расположении стрелкового полка, входившего в состав дивизии Батюка. Чуйков посетил блиндаж командира полка капитана Михайлова и, осмотрев многонакатную просторную землянку, удовлетворенно кивнул. Глядя на огорченное лицо рыжего, веснушчатого капитана, командарм весело сказал ему:

– Не по чину, товарищ капитан, построили себе блиндаж.

Штаб полка, прихватив свою нехитрую мебель, переместился на несколько десятков метров по течению Волги, – там рыжий Михайлов, в свою очередь, решительно потеснил командира своего батальона.

Командир батальона, оставшись без квартиры, не стал трогать командиров своих рот (уж очень тесно жили), а велел выкопать себе новую землянку на самом плоскогорье.

Когда Крымов пришел на командный пункт 62-й армии, там в разгаре были саперные работы. Прокладывались ходы сообщения между отделами штаба, улицы и переулочки, соединявшие жителей политотдела, оперативщиков и артиллеристов.

Два раза Крымов видел самого командарма – он выходил посмотреть на стройку.

Нигде, пожалуй, в мире к строительству жилищ не относились с такой серьезностью, как в Сталинграде. Не для тепла и не в пример потомству строились сталинградские блиндажи. Вероятность встретить рассвет и час обеда грубо зависела от толщины блиндажных накатов, от глубины хода сообщения, от близости отхожего места, от того, замечен ли с воздуха блиндаж.

Когда говорили о человеке, говорили и о его блиндаже.

– Толково сегодня Батюк поработал минометами на Мамаевом кургане... И блиндажик, между прочим, у него: дверь дубовая, толстенная, как в сенате, умный человек...

А случалось, говорили о ком-нибудь так:

– Ну что ж, потеснили его ночью, потерял ключевую позицию, связи с подразделениями не имел. Командный пункт его с воздуха виден, плащ-палатка вместо двери – от мух, можно сказать. Пустой человек, от него, я слышал, жена до войны ушла.

Много разных историй было связано с блиндажами и землянками Сталинграда. И рассказ о том, как в трубу, в которой жил родимцевский штаб, вдруг хлынула вода и вся канцелярия выплыла на берег, и шутники на карте отметили место впадения родимцевского штаба в Волгу. И рассказ о том, как вышибло знаменитые двери в блиндаже у Батюка. И рассказ о том, как Жолудева на тракторном заводе засыпало вместе со штабом в блиндаже.

Сталинградский береговой откос, часто и плотно начиненный блиндажами, напоминал Крымову огромный военный корабль – по одному борту его лежала Волга, по другому – плотная стена неприятельского огня.

Крымов имел поручение политуправления разобрать склоку, возникшую между командиром и комиссаром стрелкового полка в дивизии Родимцева.

Отправляясь к Родимцеву, он собирался сделать доклад штабным командирам, а затем разобрать и кляузное дело.

Посыльный из политотдела армии подвел его к каменному устью широкой трубы, в которой разместился родимцевский штаб. Часовой доложил о батальонном комиссаре из штаба фронта, и чей-то толстый голос произнес:

– Зови его сюда, а то, верно, с непривычки в штаны наложил.

Крымов зашел под низкий свод и, чувствуя на себе взгляды штабных, представился полнотелому полковому комиссару в солдатском ватнике, сидевшему на консервном ящике.

– А, очень приятно, доклад послушать – дело хорошее, – сказал полковой комиссар. – А то слышали, что и Мануильский и еще кое-кто на левый берег приехали, а к нам в Сталинград не соберутся.

– У меня, кроме того, есть поручение от начальника политуправления, – сказал Крымов, – разобраться дело между командиром стрелкового полка и комиссаром.

– Было у нас такое дело, – ответил комиссар. – Вчера его разобрали: на командный пункт полка попала тонная бомба, убито восемнадцать человек, в том числе командир полка и комиссар.

Он проговорил с доверительной простотой:

– Все у них как-то наоборот было, и внешность даже: командир человек простой, крестьянский сын, а комиссар перчатки носил, кольцо на пальце. Теперь лежат оба рядом.

Как человек, умеющий управлять своим и чужим настроением, а не подчиняться настроению, он, резко изменив тон, веселым голосом сказал:

– Когда дивизия наша под Котлубанью стояла, пришлось мне везти к фронту на своей машине московского докладчика, Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: «Волос потеряет, голову тебе снесу». Намаялся я с ним. Чуть самолет – сразу в кювет пикировали. Берег. Неохота голову терять. Но и товарищ Юдин берегся, проявлял инициативу.

Люди, прислушивающиеся к их разговору, посмеивались, и Крымов вновь ощутил раздражавший его тон снисходительной насмешливости.

Обычно у Крымова складывались хорошие отношения со строевыми командирами, вполне сносные со штабными, а раздраженные и не всегда искренние со своим же братом политическими работниками. Вот и сейчас комиссар дивизии раздражал его: без году неделя на фронте, а представляется ветераном, наверное, и в партию перед войной вступил, а уж Энгельс его не устраивает.

Но, видимо, и Крымов чем-то раздражал комиссара дивизии.

Это ощущение не оставило Крымова и когда адъютант устраивал ему ночлег, и когда его поили чаем.

Почти в каждой воинской части есть свой особый, отличный от других стиль отношений. В штабе родимцевской дивизии постоянно гордились своим молодым генералом.

После того как Крымов закончил беседу, ему стали задавать вопросы.

Начальник штаба Бельский, сидевший подле Родимцева, спросил:

– Когда же, товарищ докладчик, союзники второй фронт откроют?

Комиссар дивизии, полулежавший на узеньких нарах, прилепленных к каменной обшивке трубы, сел, разгреб руками сено и проговорил:

– Куда спешить. Меня больше интересует, как наше командование действовать собирается.

Крымов недовольно покосился на комиссара, сказал:

– Поскольку ваш комиссар так ставит вопрос, отвечать следует не мне, а генералу.

Все поглядели на Родимцева, и он сказал:

– Высокому человеку здесь не разогнуться. Одно слово – труба. Оборона – что ж, в ней нет высшей заслуги. А наступать из этой трубы нельзя. Рады бы, да в трубе резервов не накопишь.

В это время зазвонил телефон. Родимцев взял трубку.

Все люди поглядели на него.

Положив трубку, Родимцев нагнулся к Бельскому и негромко произнес несколько слов. Тот потянулся к телефону, но Родимцев положил руку на телефонный аппарат и сказал:

– К чему? Разве вам не слышно?

Многое было слышно под каменными сводами штольни, освещенной мерцающим дымным светом ламп, сделанных из снарядных гильз. Частые пулеметные очереди грохотали над

головой сидевших, как тележки на мосту. Время от времени ударяли разрывы ручных гранат. Звуки в трубе резонировали очень гулко.

Родимцев подзывал к себе то одного, то другого сотрудника штаба, вновь поднес к уху нетерпеливую телефонную трубку.

На мгновение он поймал взгляд сидевшего неподалеку Крымова и, мило, по-домашнему улыбнувшись, сказал ему:

– Разгулялася волжская погода, товарищ докладчик.

А телефон уж звонил непрерывно. Прислушиваясь к разговору Родимцева, Крымов примерно понимал, что происходило. Заместитель командира дивизии, молодой полковник Борисов, подошел к генералу и, склонившись над ящиком, на котором был разложен план Сталинграда, картинно, резко провел жирную синюю черту по перпендикуляру, рассекающую до самой Волги красный пункт советской обороны. Борисов выразительно посмотрел на Родимцева темными глазами. Родимцев вдруг встал, увидя идущего к нему из полумрака человека в плащ-палатке.

По походке и выражению лица подошедшего сразу же делалось понятным, откуда он явился, – он был окутан невидимым раскаленным облаком, казалось, что при быстрых движениях не плащ-палатка шуршит, а потрескивает электричество, которым насыщен этот человек.

– Товарищ генерал, – жалуюсь, закричал он, – потеснил меня, собака, в овраг залез, прет к Волге. Надо усилить меня.

– Задержите противника сами любой ценой. Резервов у меня нет, – сказал Родимцев.

– Задержать любой ценой, – ответил человек в плащ-палатке, и всем стало понятно, когда он, повернувшись, пошел к выходу, что он знает цену, которую заплатит.

– Тут рядом? – спросил Крымов и показал на карте извилистую жилу оврага.

Но Родимцев не успел ему ответить. В устье трубы послышались пистолетные выстрелы, мелькнули красные зарницы ручных гранат.

Послышался пронзительный командирский свисток. К Родимцеву кинулся начальник штаба, закричал:

– Товарищ генерал, противник прорвался на ваш командный пункт!..

И вдруг исчез командир дивизии, чуть-чуть игравший своим спокойным голосом, отмечавший цветным карандашиком по карте изменение обстановки. Исчезло ощущение, что война в каменных развалинах и поросших бурьяном оврагах связана с хромированной сталью, катодными лампами, радиоаппаратурой. Человек с тонкими губами озорно крикнул:

– А ну, штаб дивизии! Проверьте личное оружие, взять гранаты – и за мной, отразим противника!

И в его голосе и глазах, быстро, властно скользнувших по Крымову, много было ледяного и жгучего боевого спирта. На миг показалось – не в опыте, не в знании карты, а в жестокой и безудержной, озорной душе главная сила этого человека!

Через несколько минут офицеры штаба, писари, связные, телефонисты, неловко и торопливо толкаясь, вываливались из штабной трубы, и впереди, освещенный боевым, мерцающим огнем, легким шагом бежал Родимцев, стремясь к оврагу, откуда раздавались взрывы, выстрелы, крики и брань.

Когда, задохнувшись от бега, Крымов одним из первых добрался до края оврага и поглядел вниз, его содрогнувшееся сердце почувствовало соединенное чувство гадливости, страха, ненависти. На дне расселины мелькали неясные тени, вспыхивали и гасли искры выстрелов, загорался то зеленый, то красный глазок, а в воздухе стоял непрерывный железный свист. Казалось, Крымов заглянул в огромную змеиную нору, где сотни потревоженных ядовитых существ, шипя, сверкая глазами, быстро расползались, шурша среди сухого бурьяна.

И с чувством ярости, отвращения, страха он стал стрелять из винтовки по мелькавшим во тьме вспышкам, по быстрым теням, ползавшим по склонам оврага.

В нескольких десятках метров от него немцы появились на гребне оврага. Частый грохот ручных гранат тряс воздух и землю, – штурмовая немецкая группа стремилась прорваться к устью трубы.

Тени людей, вспышки выстрелов мелькали во мгле, крики, стоны то вспыхивали, то гасли. Казалось, кипит большой черный котел, и Крымов весь, всем телом, всей душой погрузился в это булькающее, пузырящееся кипение и уж не мог мыслить, чувствовать, как мыслил и чувствовал прежде. То казалось, он правит движением захватившего его водоворота, то ощущение гибели охватывало его, и казалось, густая смоляная тьма льется ему в глаза, в ноздри, и уж нет воздуха для дыхания и нет звездного неба над головой, есть лишь мрак, овраг и страшные существа, шуршащие в бурьяне.

Казалось, нет возможности разобраться в том, что происходит, и в то же время силилось очевидное, по-дневному ясное чувство связи с людьми, ползущими по откосу, чувство своей силы, соединенной с силой стреляющих рядом с ним, чувство радости, что где-то рядом находится Родимцев.

Это удивительное чувство, возникшее в ночном бою, где в трех шагах не различишь, кто это рядом – товарищ или готовый убить тебя враг, связывалось со вторым, не менее удивительным и необъяснимым ощущением общего хода боя, тем ощущением, которое давало солдатам возможность судить об истинном соотношении сил в бою, предугадывать ход боя.

11

Ощущение общего исхода боя, рожденное в человеке, отъединенном от других дымом, огнем, оглушенном, часто оказывается более справедливым, чем суждение об исходе боя, вынесенное за штабной картой.

В миг боевого перелома иногда происходит изумительное изменение, когда наступающий и, кажется, достигший своей цели солдат растерянно оглядывается и перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели, а противник, который все время был для него единичным, слабым, глупым, становится множественным и потому непреодолимым. В этот ясный для тех, кто переживает его, миг боевого перелома, таинственный и необъяснимый для тех, кто извне пытается предугадать и понять его, происходит душевное изменение в восприятии: лихое, умное «мы» обращается в робкое, хрупкое «я», а неудачливый противник, который воспринимался как единичный предмет охоты, превращается в ужасное и грозное, слитное «они».

Раньше все события боя воспринимались наступающим и успешно преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда... пулеметная очередь... вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, стреляющего тоже по отдельности солдата, а я – это мы, я – это вся громадная, идущая в атаку пехота, я – это поддерживающая меня артиллерия, я – это поддерживающие меня танки, я – это ракета, освещающая наше общее боевое дело. И вдруг – я остаюсь один, а все, что было раздельно и потому слабо, сливается в ужасное единство вражеского ружейного, пулеметного, артиллерийского огня, и нет уже силы, которая помогла бы мне преодолеть это единство. Спасение – в моем бегстве, в том, чтобы спрятать мою голову, укрыть плечо, лоб, челюсть.

А во тьме ночи подвергшиеся внезапному удару и поначалу чувствовавшие себя слабыми и отдельными начинают расчленять единство обрушившегося на них неприятеля и ощущать собственное единство, в котором и есть сила победы.

В понимании этого перехода часто и лежит то, что дает право военному делу называться искусством.

В этом ощущении единичности и множественности, в переходе сознания от понятия единичности к понятию множественности не только связь событий при ночных штурмах рот и батальонов, но и знак военных усилий армий и народов.

Есть одно ощущение, которое почти целиком теряется участниками боя, – это ощущение времени. Девочка, протанцевавшая на новогоднем балу до утра, не сможет ответить, каково было ее ощущение времени на балу – долгим ли или, наоборот, коротким.

И шлиссельбуржец, отбывший двадцать пять лет заключения, скажет: «Мне кажется, что я провел в крепости вечность, но одновременно мне кажется, что я провел в крепости короткие недели».

У девочки ночь была полна мимолетных событий – взглядов, отрывков музыки, улыбок, прикосновений, – каждое это событие казалось столь стремительным, что не оставляло в сознании ощущения протяженности во времени. Но сумма этих коротких событий породила ощущение большого времени, вместившего всю радость человеческой жизни.

У шлиссельбуржца происходило обратное – его тюремные двадцать пять лет складывались из томительно длинных отдельных промежутков времени, от утренней поверки до вечерней, от завтрака до обеда. Но сумма этих бедных событий, оказалось, породила новое ощущение: в сумрачном однообразии смены месяцев и годов время сжалось, сморщилось... Так возникло одновременное ощущение краткости и бесконечности, так возникло сходство этого

ощущения в людях новогодней ночи и в людях тюремных десятилетий. В обоих случаях сумма событий порождает одновременное чувство длительности и краткости.

Более сложен процесс деформации ощущения длительности и краткости времени, переживаемый человеком в бою. Здесь дело идет дальше, здесь искажаются, искривляются отдельные, первичные ощущения. В бою секунды растягиваются, а часы сплющиваются. Ощущение длительности связывается с молниеносными событиями – свистом снарядов и авиабомб, вспышками выстрелов и вспышками взрывов.

Ощущение краткости соотносится к событиям протяженным – к движению по вспаханному полю под огнем, к переползанию от укрытия к укрытию. А рукопашный бой происходит вне времени. Здесь неопределенность проявляется и в слагающих, и в результате, здесь деформируются и сумма, и каждое слагаемое.

А слагаемых здесь бесконечное множество.

Ощущение продолжительности боя в целом столь глубоко деформировано, что оно является полной неопределенностью – не связывается ни с длительностью, ни с краткостью.

В хаосе, в котором смешались слепящий свет и слепящая тьма, крики, грохот разрывов, скоропечать автоматов, в хаосе, раздравшем в клочья ощущение времени, с поразительной ясностью Крымов понял: немцы смяты, немцы побиты. Он понял это так же, как и те писари и связные, что стреляли рядом с ним, – внутренним чувством.

12

Ночь прошла. Среди опаленного бурьяна валялись тела убитых. Безрадостно и угрюмо дышала у берегов тяжелая вода. Тоска охватывала сердце при взгляде на разрытую землю, на пустые коробки выгоревших домов.

Начинался новый день, и война готовилась щедро – по самый край – наполнить его дымом, щебенкой, железом, грязными, окровавленными бинтами. А позади были такие же дни. И ничего уже не было в мире, кроме этой вспаханной железом земли, кроме неба в огне.

Крымов сидел на ящике, прислонившись головой к каменной обшивке трубы, и дремал.

Он слушал неясные голоса сотрудников штаба, слышал позвякивание чашек – комиссар дивизии и начальник штаба пили чай, переговаривались сонными голосами. Говорили, что захваченный пленный оказался сапером; батальон его был на самолетах переброшен несколько дней назад из Магдебурга. В мозгу Крымова мелькнула картинка из детского учебника – два задастых битюга, подгоняемых погонщиками в остроконечных колпаках, пытаются отодрать присосавшиеся друг к другу полушария. И чувство скуки, которое вызывала в нем в детстве эта картинка, вновь коснулось его.

– Это хорошо, – сказал Бельский, – значит, резервы подобрались.

– Да уж, конечно, хорошо, – согласился Вавилов, – штаб дивизии в контратаку ходит.

И тут Крымов услышал негромкий голос Родимцева:

– Цветочки, цветочки, ягодки на заводах будут.

Казалось, все силы души Крымов истратил в этом ночном бою. Для того чтобы увидеть Родимцева, надо было повернуть голову, но Крымов не повернул головы. «Так пусто, вероятно, себя чувствует колодец, из которого вычерпали всю воду», – подумал он. Он снова задремал, и негромкие голоса, звуки стрельбы и разрывов слились в однотонное гудение.

Но вот новое ощущение вошло в мозг Крымова, и ему померещилось, что он лежит в комнате с закрытыми ставнями и следит за пятном утреннего света на обоях. Пятно поползло до ребра стенового зеркала и раскрылось радугой. Сердце мальчика задрожало, человек с седыми висками, с висающим у пояса тяжелым пистолетом открыл глаза и оглянулся.

Посреди трубы, в старенькой гимнастерке, в пилоточке с зеленой фронтальной звездочкой стоял, склонив голову, музыкант и играл на скрипке.

Вавилов, увидев, что Крымов проснулся, наклонился к нему и сказал:

– Это наш парикмахер, Рубинчик, ба-альшой специалист!

Иногда кто-нибудь бесцеремонно перебивал игру шутливым грубым словом, иногда кто-нибудь, заглушая музыканта, спрашивал «разрешите обратиться?» – рапортовал начальнику штаба, постукивала ложечка в жестяной кружке, кто-то протяжно зевнул: «Охо-хо-хо-хо...» – и стал взбивать сено.

Парикмахер внимательно следил, не мешает ли его игра командирам, готовый в любую минуту прервать ее.

Но почему Ян Кубелик, вспомнившийся Крымову в эти минуты, седой, в черном фраке, отступил, склонившись перед штабным парикмахером? Почему тонкий, дребезжащий голос скрипки, поющий незамысловатую, как мелкий ручеек, песенку, казалось, выражал в эти минуты сильнее, чем Бах и Моцарт, всю просторную глубину человеческой души?

Снова, в тысячный раз Крымов ощутил боль одиночества. Женья ушла от него...

Снова с горечью он подумал, что уход Жени выразил всю механику его жизни: он остался, но его не стало. И она ушла.

Снова он подумал, что надо сказать самому себе много страшного, беспощадно жестокого... полно робеть, прикрываться перчаткою...

Музыка, казалось, вызвала в нем понимание времени.

Время – прозрачная среда, в которой возникают, движутся, бесследно исчезают люди... Во времени возникают и исчезают массивы городов. Время приносит их и уносит.

Но в нем возникло совсем особое, другое понимание времени. То понимание, которое говорит: «Мое время... не наше время».

Время втекает в человека и в царство-государство, гнездится в них, и вот время уходит, исчезает, а человек, царство остаются... царство осталось, а его время ушло... человек есть, а время его исчезло. Где оно? Вот человек, он дышит, он мыслит, он плачет, а то единственное, особое, только с ним связанное время ушло, уплыло, утекло. И он остается.

Самое трудное – быть пасынком времени. Нет тяжелее участи пасынка, живущего не в свое время. Пасынков времени распознают сразу – в отделах кадров, в райкомах партии, в армейских политотделах, редакциях, на улице... Время любит лишь тех, кого оно породило, – своих детей, своих героев, своих тружеников. Никогда, никогда не полюбит оно детей ушедшего времени, и женщины не любят героев ушедшего времени, и мачехи не любят чужих детей.

Вот таково время, – все уходит, а оно остается. Все остается, одно время уходит. Как легко, бесшумно уходит время. Вчера еще ты был так уверен, весел, силен: сын времени. А сегодня пришло другое время, но ты еще не понял этого.

Время, растерзанное в бою, возникло из фанерной скрипки парикмахера Рубинчика. Скрипка сообщала одним, что время их пришло, другим, что время их уходит.

«Ушло, ушло», – подумал Крымов.

Он смотрел на спокойное, добродушное, большое лицо комиссара Вавилова. Вавилов прихлебывал из кружки чай, старательно, медленно жевал хлеб с колбаской, его непроницаемые глаза были повернуты к светлевшему в устье трубы пятну света.

Родимцев, зябко поднявши прикрытые шинелью плечи, со спокойным и ясным лицом, внимательно, в упор смотрел на музыканта. Рябоватый седой полковник, начальник артиллерии дивизии, наморщив лоб, отчего лицо его казалось недоброе, смотрел на лежащую перед ним карту, и лишь по грустным милым глазам его видно было, что карты он не видит, слушает. Бельский быстро писал донесение в штаб армии; он, казалось, был занят только делом, но писал он, склонив голову и повернув ухо в сторону скрипача. А поодаль сидели красноармейцы – связные, телефонисты, писари, и на их изнеможенных лицах, в их глазах было выражение серьезности, какое возникает на лице крестьянина, жующего хлеб.

Вдруг вспомнилась Крымову летняя ночь – большие темные глаза молодой казачки, ее жаркий шепот... Хороша все же жизнь!

Когда скрипач перестал играть, стало слышно тихое журчание, – под деревянным настилом бежала вода, и Крымову показалось, что душа его – вот тот самый невидимый колодец, который стал пуст, сух, а теперь потихоньку вбирает в себя воду.

Полчаса спустя скрипач брил Крымова и со смешавшей обычно посетителей парикмахерских преувеличенной серьезностью спрашивал, не беспокоит ли Крымова бритва, щупал ладонью – хорошо ли выбриты крымские скулы. В угрюмом царстве земли и железа пронзительно странно, нелепо и грустно запахло одеколоном и пудрой.

Родимцев, прищурившись, оглядел poprисыпанного одеколоном и напудренного Крымова, удовлетворенно кивнул и сказал:

– Что ж, гостя побрил на совесть. Теперь меня давай обработай.

Темные большие глаза скрипача наполнились счастьем. Разглядывая голову Родимцева, он встряхнул беленькую салфеточку и произнес:

– Может быть, височки все-таки подправим, товарищ гвардии генерал-майор?

13

После пожара нефтехранилищ генерал-полковник Еременко собрался к Чуйкову в Сталинград.

Эта опасная поездка не имела никакого практического смысла.

Однако душевная, человеческая необходимость в ней была велика, и Еременко потерял три дня, ожидая переправы.

Спокойно выглядели светлые стены блиндажа в Красном Саду, приятна была тень яблонь во время утренних прогулок командующего.

Далекий грохот и огонь Сталинграда сливались с шумом листвы и с жалобой камыша, и в этом соединении было что-то непередаваемо тяжелое, командующий во время утренних прогулок кряхтел и матерился.

Утром Еременко сообщил Захарову о своем решении отправиться в Сталинград и велел ему принять на себя командование.

Он пошутил с официанткой, расстелившей скатерть для завтрака, разрешил заместителю начальника штаба слетать на два дня в Саратов, он внял просьбе генерала Труфанова, командовавшего одной из степных армий, и обещал ему побомбить мощный артиллерийский узел румын. «Ладно, ладно, дам тебе дальнобойных самолетов», – сказал он.

Адьютанты гадали, чем вызвано хорошее настроение командующего. Добрые вести от Чуйкова? Благоприятный разговор по телефону ВЧ? Письмо из дому?

Но все такие и подобные известия обычно не проходили мимо адъютантов – Москва не вызывала командующего, а вести от Чуйкова не были веселыми.

После завтрака генерал-полковник надел ватник и отправился на прогулку. Шагах в десяти от него шел адъютант Пархоменко. Командующий шел по-обычному неторопливо, несколько раз он почесывал ляжку и поглядывал в сторону Волги.

Еременко подошел к бойцам трудового батальона, рывшим котлован. Это были пожилые люди с темно-коричневыми от загара затылками. Лица их были угрюмы и невеселы. Работали они молча и сердито поглядывали на полнотелого человека в зеленой фуражке, в бездействии стоявшего на краю котлована.

Еременко спросил:

– Скажите-ка, ребята, кто из вас хуже всех работает?

Бойцам трудового батальона вопрос показался подходящим, им надоело махать лопатами. Бойцы все вместе покосились на мужика, вывернувшего карман и ссыпавшего на ладонь махорочную труху и хлебные крошки.

– Да пожалуй, он, – сказали двое и оглянулись на остальных.

– Так, – серьезно произнес Еременко, – значит, этот. Вот самый лядачий.

Боец с достоинством вздохнул, глянул снизу на Еременко серьезными кроткими глазами и, видимо, решив, что вопрошавший интересуется всем этим не для дела, а просто так, для истории либо для пополнения образования, не стал вмешиваться в разговор.

Еременко спросил:

– А кто же из вас лучше всех работает?

И все показали на седого человека; поредевшие волосы не предохраняли его голову от загара, как не предохраняет землю от солнечных лучей чахлая трава.

– Трошников, вот он, – сказал один, – старается очень.

– Привык работать, ничего с собой поделат не может, – подтвердили остальные, как бы извиняясь за Трошникова.

Еременко полез в карман брюк, извлек сверкнувшие на солнце золотые часы и, с трудом нагнувшись, протянул их Трошникову.

Тот, не поняв, глядел на Еременко.

– Бери, это тебе награда, – сказал Еременко.

Продолжая глядеть на Трошникова, он сказал:

– Пархоменко, оформи награждение грамотой.

Он пошел дальше, слыша, как за спиной его загудело от возбужденных голосов, землякопы охали, смеялись невиданной удаче привычного к работе Трошникова.

Два дня ожидал командующий фронтом переправы. Связь с правым берегом в эти дни была почти порвана. Катера, которым удавалось прорваться к Чуйкову, за считанные минуты пути получали по пятьдесят – семьдесят пробоин, подходили к берегу залитые кровью.

Еременко сердился, раздражался.

Начальство на шестьдесят второй переправе, слыша немецкую пальбу, страшилось не бомб и снарядов, а гнева командующего. Еременко казалось, что нерадивые майоры и нерасторопные капитаны виноваты в бесчинствах немецких минометов, пушек и авиации.

Ночью Еременко вышел из землянки и стоял на песчаном холмике близ воды.

Карта войны, лежавшая перед командующим фронтом в блиндаже в Красном Саду, здесь гремела, дымилась, дышала жизнью и смертью.

Казалось, он узнавал огненный пунктир прочерченного его рукой переднего края, узнавал толстые клинья паулюсовских прорывов к Волге, отмеченные его цветными карандашами узлы обороны и места скопления огневых средств. Но, глядя на карту, раскрытую на столе, он чувствовал себя в силе гнуть, двигать линию фронта, он мог заставить взрывать тяжелую артиллерию левобережья. Там чувствовал он себя хозяином, механиком.

Здесь совсем другое чувство охватило его... Зарево над Сталинградом, медленный гром в небе – все это потрясало своей огромной, не зависящей от командующего страстью и силой.

Среди грохота пальбы и разрывов со стороны заводов доносился чуть слышный протяжный звук: а-а-а-а-а...

В этом протяжном крике поднявшейся в контратаку сталинградской пехоты было нечто не только грозное, но и печальное, тоскливое.

– А-а-а-а-а, – разносилось над Волгой... Боевое «ура», пройдя над холодной ночной водой под звездами осеннего неба, словно теряло горячность страсти, менялось, и в нем вдруг открывалось совсем другое существо, – не задор, не лихость, а печаль души, словно прощающейся со всем дорогим, словно зовущей близких своих проснуться, поднять голову от подушки, послушать в последний раз голос отца, мужа, сына, брата...

Солдатская тоска сжала сердце генерал-полковника.

Война, которую командующий привык толкать, вдруг втянула его в себя, он стоял тут, на сыпучем песке, одинокий солдат, потрясенный огромностью огня и грома, стоял, как стояли тут, на берегу, тысячи и десятки тысяч солдат, чувствовал, что народная война больше, чем его умение, его власть и воля. Может быть, в этом ощущении и было то самое высшее, до чего суждено было подняться генералу Еременко в понимании войны.

Под утро Еременко переправился на правый берег. Предупрежденный по телефону Чуйков подошел к воде, следил за стремительным ходом бронекатера.

Еременко медленно сошел, прогибая своей тяжестью выброшенный на берег трап, неловко ступая по каменистому берегу, подошел к Чуйкову.

– Здравствуй, товарищ Чуйков, – сказал Еременко.

– Здравствуйте, товарищ генерал-полковник, – ответил Чуйков.

– Приехал посмотреть, как вы тут живете. Вроде ты не обгорел при нефтяном пожаре. Такой же лохматый. И не похудел даже. Кормим мы тебя все же неплохо.

– Где ж худеть, сижу день и ночь в блиндаже, – ответил Чуйков, и, так как ему показались обидными слова командующего, что кормят его неплохо, он сказал: – Что же это я гостя принимаю на берегу!

И действительно, Еременко рассердился, что Чуйков назвал его сталинградским гостем. И когда Чуйков сказал: «Пожалуйста ко мне в хату», Еременко ответил: «Мне и тут хорошо, на свежем воздухе».

В это время заговорила из Заволжья громкоговорительная установка.

Берег был освещен пожарами и ракетами, вспышками взрывов и казался пустынным. Свет то мерк, то разгорался, секундами он вспыхивал с ослепительной белой силой. Еременко всматривался в береговой откос, изрытый ходами сообщения, блиндажами, в громоздившиеся вдоль воды груды камня, они выступали из тьмы и легко и быстро вновь уходили во тьму.

Огромный голос медленно, веско пел:

Пусть ярость благородная вскипает, как волна,
Идет война народная, священная война...

И так как людей на берегу и на откосе не было видно, и так как все кругом – и земля, и Волга, и небо – было освещено пламенем, казалось, что эту медленную песню поет сама война, поет без людей, помимо них катит пудовые слова.

Еременко чувствовал неловкость за свой интерес к открывшейся ему картине: в самом деле, он словно в гости приехал к сталинградскому хозяину. Он сердился, что Чуйков, видимо, понял душевную тревогу, заставившую его переправиться через Волгу, знал, как томился командующий фронтом, гуляя под шелест сухого камыша в Красном Саду.

Еременко стал спрашивать хозяина всей этой огненной беды о маневрировании резервами, о взаимодействии пехоты и артиллерии и о сосредоточении немцев в районе заводов. Он задавал вопросы, и Чуйков отвечал, как и полагается отвечать на вопросы старшего начальника.

Они помолчали. Чуйкову хотелось спросить: «Величайшая в истории оборона, но как же с наступлением все-таки?»

Но он не решился спрашивать: Еременко подумает, что не хватает у защитников Сталинграда терпения, просят снять тяжесть с плеч.

Вдруг Еременко спросил:

- Твой отец с матерью, кажется, в Тульской области, в деревне живут?
- В Тульской, товарищ командующий.
- Пишет старик тебе?
- Пишет, товарищ командующий. Работает еще.

Они поглядели друг на друга, стекла очков Еременко розовели от огня пожара.

Казалось, вот-вот начнется единственно нужный им обоим разговор о простой сути Сталинграда. Но Еременко сказал:

– Ты, верно, интересуешься вопросом, который всегда командующему фронтом задают, – насчет пополнений живой силой и боеприпасами?

Разговор, единственно имевший смысл в этот час, так и не состоялся.

Стоявший на гребне откоса часовой поглядывал вниз, и Чуйков, следя за свистом снаряда, поднял глаза и проговорил:

- Красноармеец, вероятно, думает: что за два чудака стоят там у воды?
- Еременко посопел, ковырнул в носу.

Подошел момент, когда надо было прощаться. По неписаной морали начальник, стоящий под огнем, обычно уходит, лишь когда подчиненные начинают просить его об этом. Но безразличие Еременко к опасности было так полно и естественно, что эти правила не касались его.

Он рассеянно и одновременно зорко повернул голову следом за свистящим звуком пролетевшей мины.

- Ну что ж, Чуйков, пора мне ехать.

Чуйков стоял несколько мгновений на берегу, следя за уходившим катером, – пенный след за кормой напоминал ему белый платок, словно женщина, прощаясь, махала им.

Еременко, стоя на палубе, глядел на заволжский берег, – он волнообразно колыбался в неясном свете, идущем от Сталинграда, а река, по которой прыгал катер, застыла, как каменная плита.

Еременко с досадой прошел от борта к борту. Десятки привычных мыслей возникли в его голове. Новые задачи стояли перед фронтом. Главным теперь было накапливание бронетанковых сил, порученная ему Ставкой подготовка удара на левом фланге. Ни слова он не сказал об этом Чуйкову.

А Чуйков вернулся в свой блиндаж, и автоматчик, стоявший у входа, и порученец в сенцах, и явившийся по вызову начальник штаба гурьевской дивизии – все, кто вскочили, слышав тяжелую походку Чуйкова, увидели, что командарм расстроен. Да и было отчего.

Ведь тают, тают дивизии, ведь в смещении атак и контратак немецкие клинья неуклонно срезают драгоценные метры сталинградской земли. Ведь две свежие пехотные дивизии полного состава прибыли из германского тыла и сосредоточены в районе Тракторного завода, зловеще бездействуют.

Нет, не высказал Чуйков перед командующим фронтом всех своих опасений, тревог, мрачных мыслей.

Но ни тот, ни другой не знали, в чем была причина их неудовлетворенности этой встречи. Главным в их встрече было надделовое, то, что оба они не сумели вслух высказать.

14

Октябрьским утром майор Березкин проснулся, подумал о жене и дочери, о крупнокалиберных пулеметах, прислушался к ставшему за месяц его сталинградской жизни привычным грохоту, позвал автоматчика Глушкова и велел принести себе помыться.

– Холодная, как вы приказывали, – сказал Глушков, улыбаясь и переживая удовольствие, которое испытывал Березкин от утреннего умывания.

– А на Урале, где жена и дочка, уже снежок, наверное, выпал, – сказал Березкин, – не пишут они мне, вот, понимаешь...

– Напишут, товарищ майор, – сказал Глушков.

Пока Березкин вытирался, надевал гимнастерку, Глушков рассказывал ему о событиях, произошедших в утренние часы.

– По пищеблоку ударил «ванюшей», кладовщика убило, во втором батальоне помначштаба вышел оправиться, его в плечо осколком подранило; в саперном батальоне бойцы судака, глушенного бомбой, выловили, кило на пять, я ходил смотреть, комбату, товарищу капитану Мовшовичу, в подарок снесли. Заходил товарищ комиссар, велел, когда проснетесь, позвонить.

– Понятно, – сказал Березкин. Он выпил чашку чаю, поел студня из телячьих ножек, позвонил комиссару и начальнику штаба, сказал, что отправляется в батальоны, надел ватник и пошел к двери.

Глушков встряхнул полотенце, повесил его на гвоздик, пощупал гранату на боку, похлопал себя по карману – на месте ли кисет – и, взяв в углу автомат, пошел за командиром полка.

Березкин вышел из полутемного блиндажа и зажмурился от белого света. Ставшая за месяц знакомой картина лежала перед ним – глинистая осыпь, бурый откос весь в пятнах засаленных плащ-палаток, прикрывавших солдатские землянки, дымящие трубы самодельных печей. Наверху темнели заводские корпуса со снесенными крышами.

Левее, ближе к Волге, возвышались заводские трубы «Красного Октября», громоздились товарные вагоны, как ошалевшее стадо, сбившееся вокруг тела убитого вожака, лежащего на боку паровоза. А еще дальше виднелось широкое кружево мертвых городских развалин, и осеннее небо просвечивало сквозь бреши окон тысячами голубых пятен.

Меж заводских цехов поднимался дым, мелькало пламя, и ясный воздух был полон то тягучим шелестом, то сухим, дробным тархтением. Казалось, что заводы работают полным ходом.

Березкин внимательно оглядел свои триста метров земли, – оборону полка, – она проходила среди домиков рабочего поселка. Внутреннее чувство помогало в путанице развалин, улочек ощутить, в каком доме варят кашу красноармейцы, в каком едят шпик и пьют шнапс немецкие автоматчики.

Березкин пригнул голову и ругнулся, прошелестела в воздухе мина.

На противоположном склоне оврага дым закрыл вход в один из блиндажей, и тотчас же звонко треснул разрыв. Из блиндажа выглянул начальник связи соседней дивизии, – он был без кителя, в подтяжках. Едва он сделал шаг, как снова засвистело, и начальник связи поспешно отступил и прихлопнул дверь, – мина разорвалась метрах в десяти. В дверях блиндажа, расположенного на углу оврага и волжского откоса, стоял Батюк и наблюдал происходившее.

Когда начальник связи пытался шагнуть вперед, Батюк, гакая, кричал: «Огонь!» – и немец, как по заказу, пускал мину.

Батюк заметил Березкина и крикнул ему:

– Здорово, сосед!

Эта проходка по пустынной тропинке по существу своему была ужасным, смертным делом, – немцы, выспавшись и покушав фрюштик, наблюдали за тропинкой с особым интере-

сом, садили, не жалея припасов, по всякому. На одном из поворотов Березкин постоял у груды скрапа и, промерив глазом лукаво задумавшееся пространство, проговорил:

– Давай, Глушков, беги первый.

– Что вы, разве можно, тут снайпер у них, – сказал Глушков.

Перебегать первым опасное место считалось привилегией начальников, немцы обычно не успевали открыть огонь по первому бегущему.

Березкин оглянулся на немецкие дома, подмигнул Глушкову и побежал.

Когда он подбежал к насыпи, закрывавшей обзор из немецких домов, за спиной его четко чокнуло, щелкнуло – немец стрельнул разрывной пулей.

Березкин, стоя под насыпью, стал закуривать. Глушков побежал длинным, быстрым шагом. Очередь резанула ему под ноги, казалось, с земли взлетела стайка воробьев. Глушков метнулся в сторону, споткнулся, упал, вновь вскочил и подбежал к Березкину.

– Чуть не срезал, – сказал он и, отдышавшись, объяснил: – Я думал подгадать, он вас пропустил и с досады сигарету закуривать станет, а он, холера, видно, некурящий.

Глушков пощупал обкромсанную полу ватника и обматерил немца.

Когда они подошли к командному пункту батальона, Березкин спросил:

– Подранило, товарищ Глушков?

– Он мне каблук отгрыз, совсем раздел, подлец, – сказал Глушков.

Командный пункт батальона находился в подвале заводского магазина «Гастроном», и в сыром воздухе стоял запах квашеной капусты и яблок.

На столе горели два высоких светильника из снарядных гильз. Над дверью был прибит плакат: «Продавец и покупатель, будьте взаимно вежливы».

В подвале размещались штабы двух батальонов – стрелкового и саперного. Оба комбата, Подчуфаров и Мовшович, сидели за столом и завтракали. Открывая дверь, Березкин услышал оживленный голос Подчуфарова:

– Я разбавленный спиридон не люблю, по мне бы его вовсе не было.

Оба комбата поднялись, вытянулись. Начальник штаба спрятал под грудку ручных гранат четвертинку водки, а повар заслонил своим телом судака, о котором минуту назад беседовал с ним Мовшович. Вестовой Подчуфарова, сидевший на корточках и собиравшийся поставить по указанию своего начальника на патефонный диск пластинку «Китайская серенада», вскочил так быстро, что успел лишь скинуть пластинку, а патефонный моторчик продолжал жужжать вхолостую: вестовой, глядя прямым и открытым взором, как и следовало боевому солдату, ловил уголком глаза злой взгляд Подчуфарова, когда проклятый патефон особенно трудолюбиво подвывал и курлыкал.

Оба комбата и остальные, причастные к завтраку, хорошо знали предрассудок начальников: старшие полагали – батальонные люди должны либо вести бои, либо глядеть в бинокль на противника, либо размышлять, склонившись над картой. Но ведь люди не могут двадцать четыре часа стрелять, говорить по телефону с ниже- и вышестоящими, – надо и покушать.

Березкин покосился в сторону журчащего патефона и усмехнулся.

– Так, – сказал он и добавил: – Садитесь, товарищи, продолжайте.

Слова эти имели, возможно, обратный, а не прямой смысл, и на лице Подчуфарова появилось выражение грусти и раскаяния, а на лице Мовшовича, командовавшего отдельным саперным батальоном и потому непосредственно не подчиненного командиру полка, выражение одной лишь грусти, без раскаяния. Примерно так же разделились выражения лиц, подчиненных им.

Березкин продолжал особо неприятным тоном:

– А где судак ваш на пять килограмм, товарищ Мовшович, о нем уж в дивизии все знают. Мовшович с тем же выражением грусти сказал:

– Повар, покажите, пожалуйста, рыбу.

Повар, единственный находившийся при исполнении своих прямых обязанностей, прямодушно сказал:

– Товарищ капитан велел пофаршировать его по-еврейски; перец, лавровый лист есть, а вот хлеба белого нет, и хрену не будет...

– Так, понятно, – сказал Березкин, – фаршированную рыбу я в Бобруйске ел у одной Фиры Ароновны, по правде говоря, не совсем понравилась.

И вдруг люди в подвале поняли, что командиру полка даже не приходило в голову сердиться.

Словно Березкин знал о том, что Подчуфаров отбивал ночных немцев, что под утро его присыпало землей и вестовой, наладчик «Китайской серенады», откапывал его и кричал: «Не сомневайтесь, товарищ капитан, выручу...»

Словно он знал, что Мовшович ползал с саперами по танкоопасной улочке и присыпал землей и битым кирпичом шахматный узор против танковых мин...

Их молодость радовалась еще одному утру, можно еще раз поднять жестяную кружечку и сказать: «Эх, будь здоров, и тому подобное», и можно жевать капусту, дымить папироской...

Собственно, ничего не произошло – минутку хозяева подвала постояли перед старшим командиром, потом предложили ему покушать с ними, с удовольствием глядели, как командир полка ел капусту.

Березкин часто сравнивал сталинградское сражение с прошедшим годом войны, – видел он ее немало. Он понял, что выдерживает такое напряжение лишь потому, что в нем самом живут тишина и покой. И красноармейцы могли есть суп, чинить обувь, вести разговор о женах, о плохих и хороших начальниках, мастерить ложки в такие дни и часы, когда, казалось, люди способны испытывать лишь бешенство, ужас либо изнеможение. Он видел, что не имевшие в себе покойной душевной глубины долго не выдерживали, как бы отчаянны и безрассудны в бою они ни были. Робость, трусость казались Березкину временным состоянием, чем-то вроде простуды, которую можно вылечить.

Что такое храбрость и трусость, он твердо не знал. Однажды в начале войны начальство распекало Березкина за робость, – он самочинно отвел полк из-под немецкого огня. А незадолго до Сталинграда Березкин приказал командиру батальона отвести людей на обратный скат высоты, чтобы их зря не обстреливали немецкие хулиганы-минометчики. Командир дивизии с упреком сказал:

– Что ж это, товарищ Березкин, а мне про вас говорили как о человеке храбром, спокойном.

Березкин молчал, вздохнул, – должно быть, говорившие ошиблись в нем.

Подчуфаров, ярко-рыжий, с яркими голубыми глазами, с трудом сдерживал свою привычку быстро, неожиданно смеяться и неожиданно сердиться. Мовшович, худой, с длинным веснушчатым лицом, с пятнами седых волос на темной голове, сипло отвечал на вопросы Березкина. Он вытащил блокнот и стал рисовать предложенную им новую схему минирования танкоопасных участков.

– Вырвите мне этот чертежик на память, – сказал Березкин, наклонился к столу и вполголоса произнес: – Меня вызывал командир дивизии. По данным армейской разведки, немцы уводят силы из городского района, сосредоточивают их против нас. Танков много. Понятно?

Березкин прислушался к близкому разрыву, потрясшему стены подвала, и улыбнулся.

– А у вас тут спокойно. В моем овраге за это время уже обязательно человека три побывали бы из штаба армии, разные комиссии все ходят.

В это время новый удар потряс здание, с потолка посыпались куски штукатурки.

– А ведь верно, спокойно, никто особенно не беспокоит, – сказал Подчуфаров.

– Вот в том-то и дело, что не беспокоят, – сказал Березкин.

Он заговорил доверительно, вполголоса, искренне забывая, что он и есть начальство, забыв об этом от привычки быть подчиненным и непривычки быть начальством.

– Знаете, как начальство? Почему не наступаешь? Почему не занял высоту? Почему потери? Почему без потерь? Почему не доносишь? Почему спишь? Почему...

Березкин поднялся.

– Пойдемте, товарищ Подчуфаров, хочу вашу оборону посмотреть.

Пронзительная печаль была в этой улочке рабочего поселка, в обнажившихся внутренних стенах, обклеенных пестренькими обоями, во вспаханных танками садиках и огородах, в одиноких, кое-где уцелевших осенних георгинах, цветущих бог весть зачем.

Неожиданно Березкин сказал Подчуфарову:

– Вот, товарищ Подчуфаров, писем от жены нет. Нашел я ее в дороге, а теперь опять нет писем, знаю только, что на Урал с дочкой поехали.

– Напишут, товарищ майор, – сказал Подчуфаров.

В полуподвале двухэтажного дома, под заложёнными кирпичом окнами, лежали раненые, ожидавшие ночной эвакуации. На полу стояло ведро с водой, кружка, меж окон напротив двери была прибита к стене картинка-открытка «Сватовство майора».

– Это тылы, – сказал Подчуфаров, – передний край дальше.

– Дойдем и до переднего края, – сказал Березкин.

Они прошли через переднюю в комнату с проваленным потолком, и чувство, которое испытывают люди, пришедшие из заводской конторы в двери цеха, охватило их. В воздухе стоял тревожный и перченый дух пороховых газов, под ногами скрипели пегие, выстрелянные патроны. В детской кремовой коляске были сложены противотанковые мины.

– Вот развалюшку у меня ночью немец забрал, – сказал Подчуфаров, подходя к окну. – До чего жалко, дом замечательный, окна на юго-запад. Весь мой левый край под огнем держит.

У заложённых кирпичом окон с узкими прорезями стоял станковый пулемет, пулеметчик без пилотки, с обвязанной пропыленным и задымленным бинтом головой заправлял новую ленту, а первый номер, обнажив белые зубы, сжевывал кусок колбасы, готовясь через полминуты снова стрелять.

Подошел командир роты, лейтенант. В кармашек его гимнастерки была вставлена белая астра.

– Орел, – улыбаясь, сказал Березкин.

– Вот хорошо, что вас вижу, товарищ капитан, – сказал лейтенант, – как я вам ночью сказал, так и есть, опять они пошли на дом номер шесть дробь один. Ровно в девять начали, – и он посмотрел на часы.

– Здесь стоит командир полка, ему докладывайте.

– Виноват, не признал, – быстро козырнул лейтенант.

Шесть дней назад противник отрезал в районе полка несколько домов и начал по-немецки обстоятельно сжевывать их. Советская оборона гасла под развалинами, гасла вместе с жизнью оборонявшихся красноармейцев. Но в одном заводском доме с глубокими подвалами советская оборона продолжала держаться. Крепкие стены выдерживали удары, хотя и были во многих местах прошиблены снарядами и изгрызены минами. Немцы пытались сокрушить это здание с воздуха, и трижды самолеты-торпедоносцы пускали на него разрушительные торпеды. Вся угловая часть дома обрушилась. Но подвал под развалинами оказался цел, и оборонявшиеся, расчистив обломки, установили пулеметы, легкую пушку, минометы и не подпускали немцев. Дом этот был счастливо расположен – немцы не могли к нему найти скрытых подходов.

Командир роты, докладывавший Березкину, сказал:

– Пробовали ночью пробраться к ним – не вышло дело у нас. Одного убили, а двое раненные вернулись.

– Ложись! – жутким голосом закричал в это время красноармеец-наблюдатель, и несколько человек повалились плашмя на землю, а командир роты не договорил, взмахнул руками, как будто собираясь нырнуть, плюхнулся на пол.

Вой пронзительно вырос и вдруг обратился потрясающим землю и душу грохотом вонючих и душных разрывов. Толстый черный чурбак грохнулся на пол, подскочил, подкатился под ноги Березкину, и тот подумал, что полено, подброшенное силой взрыва, едва не ударило его по ноге.

И вдруг он увидел – то был невзорвавшийся снаряд. Напряжение этой секунды было невыносимо.

Но снаряд не взорвался, и его черная тень, поглотившая небо и землю, заслонившая прошлое, обрубившая будущее, исчезла.

Командир роты поднялся на ноги.

– Вот это козюлька, – сказал чей-то расстроенный голос, а другой рассмеялся:

– Ну, я думал – все, накрылся.

Березкин утер пот, вдруг выступивший на лбу, поднял с полу белую астрочку, стряхнул с нее кирпичную пыль и, прикрепив ее к карману лейтенантской гимнастерки, сказал:

– Наверное, подарок... – и стал объяснять Подчуфарову: – Почему у вас все-таки спокойно? Начальство не ходит. Ведь начальство всегда чего-нибудь от тебя хочет: у тебя повар хороший, заберу у тебя повара. У тебя классный парикмахер или, там, портной – дай его мне. Калымщики! Ты хороший блиндаж себе отрыл – вылезай из него. У тебя хорошая квашеная капуста – пришли ее мне. – Он неожиданно спросил у лейтенанта: – А почему же двое вернулись, не дошли до окруженных?

– Подранило их, товарищ командир полка.

– Понятно.

– Вы счастливый, – сказал Подчуфаров, когда они, выйдя из дома, проходили по огородам, где среди желтой картофельной ботвы были вырыты окопы и землянки второй роты.

– Кто знает, счастливый ли я, – сказал Березкин и прыгнул на дно окопа. – Как в полевых условиях, – проговорил он таким тоном, каким говорят: «Как в курортных условиях».

– Земля лучше всего к войне приспособлена, – подтвердил Подчуфаров. – Привыкла, – возвращаясь к разговору, начатому командиром полка, он добавил: – Не то что повара, случилось, и бабу начальство отбирало.

Весь окоп шумел возбужденной переключкой, трещал винтовочными выстрелами, короткими очередями автоматов и пулеметов.

– Командир роты убит, политрук Сошкин командует, – сказал Подчуфаров. – Вот его блиндажик.

– Ясно, ясно, – сказал Березкин, заглянув в полуоткрытую дверь блиндажа.

Возле пулеметов их нагнал краснолицый, с черными бровями политрук Сошкин и, непомерно громко выкрикивая отдельные слова, доложил, что рота ведет огонь по немцам с целью помешать их сосредоточению для атаки на дом шесть дробь один.

Березкин взял у него бинокль, вглядывался в короткие огоньки выстрелов, языкастое пламя из минометных жерл.

– Вон, второе окно на третьем этаже, там, мне кажется, снайпер засел.

И только он успел сказать эти слова, в окне, на которое указывал он, блеснул огонек, и пуля щелбнула, ударила в стенку окопа как раз между головой Березкина и головой Сошкина.

– Счастливый вы, – сказал Подчуфаров.

– Кто знает, счастливый ли я, – ответил Березкин.

Они прошли по окопу к местному ротному изобретению: противотанковое ружье было закреплено сошниками на тележном колесе.

– Своя ротная зенитка, – сказал сержант с пыльной щетиной и беспокойными глазами.

– Танк в ста метрах, у домика с зеленой крышей! – закричал учебным голосом Березкин. Сержант быстро повернул колесо, и длинное дуло противотанкового ружья склонилось к земле.

– А у Дыркина один боец, – сказал Березкин, – к противотанковому ружью снайперский прицел приспособил и за день три пулемета сшиб.

Сержант пожал плечами.

– Дыркину хорошо, в цехах сидит.

Они пошли дальше по окопу, и Березкин, продолжая разговор, возникший в самом начале обхода, сказал:

– Посылочку я им собрал, очень хорошую. И вот, понимаете, не пишет жена. Нет ответа и нет. Я даже не знаю – дошла ли посылка до них. А может быть, заболели? Долго ли в эвакуации до беды.

Подчуфаров неожиданно вспомнил, как в давнее прошлое время в деревню возвращались плотники, ходившие на работу в Москву, приносили женам, старикам, детям подарки. Вот для них строй и тепло деревенской домашней жизни всегда значили больше, чем московский многолюдный грохот и ночные огни.

Через полчаса они вернулись на командный пункт батальона, но Березкин не стал заходить в подвал, а простился с Подчуфаровым на дворе.

– Оказывайте дому «шесть дробь один» всю возможную поддержку, – сказал он. – Попыток пройти к ним не делайте, это мы сделаем ночью силами полка. – После этого он сказал: – Теперь так... Не нравится мне ваше отношение к раненым. У вас на КП диваны, а раненые на полу. Теперь так. За свежим хлебом не прислали, люди едят сухари. Это два. Теперь так. Ваш политрук Сошкин в дымину пьяный был. Это три. Теперь так...

И Подчуфаров слушал, удивляясь, как это командир полка прошелся по обороне и все заметил... На помкомвзвода немецкие брюки... У командира первой роты две пары часов на руке.

Березкин сказал назидательно:

– Наступать немец будет. Ясно?

Он пошел к заводу, и Глушков, успевший набить каблук и зашить прореху на ватнике, спросил:

– Домой пошли?

Березкин, не ответив ему, сказал Подчуфарову:

– Позвоните комиссару полка, скажите ему, что я пошел к Дыркину, в третий цех, на завод, – и, подмигнув, прибавил: – Капустки мне пришлите, хороша. Как-никак и я начальство.

15

Писем от Толи не было... Утром Людмила Николаевна провожала мать и мужа на работу, Надю в школу. Первой уходила мать, работавшая химиком в лаборатории знаменитого казанского мыловаренного завода. Проходя мимо комнаты зятя, Александра Владимировна обычно повторяла шутку, услышанную ею от рабочих на заводе: «Хозяевам на работу к шести, а служащим к девяти».

За ней шла в школу Надя, вернее, не шла, а убегала галопом, потому что не было возможности поднять ее вовремя с кровати, – в последнюю минуту она вскакивала, хватала чулки, кофту, книги, тетради, завтракая, давилась чаем, а сбегая по лестнице, наматывала шарф и натягивала пальто.

Когда Виктор Павлович садился завтракать, чайник после ухода Нади уже остывал, и его приходилось наново разогревать.

Александра Владимировна сердилась, когда Надя говорила: «Скорей бы вырваться из этой чертовой дыры». Надя не знала, что Державин жил когда-то в Казани, что жили в ней Аксаков, Толстой, Ленин, Зинин, Лобачевский, что Максим Горький работал когда-то в казанской булочной.

– Какое старческое безразличие, – говорила Александра Владимировна, и странно было слышать этот упрек старухи, обращенный к девочке-подростку.

Людмила видела, что мать продолжала интересоваться людьми, новой работой. Одновременно с восхищением перед душевной силой матери в ней жило совсем другое чувство, – как можно было в горе интересоваться гидрогенизацией жиров, казанскими улицами и музеями.

И однажды, когда Штрум сказал жене что-то по поводу душевной молодости Александры Владимировны, Людмила, не сдержавшись, ответила:

– Не молодость это у мамы, а старческий эгоизм.

– Бабушка не эгоистка, она народница, – сказала Надя и добавила: – Народники хорошие люди, но не очень умные.

Мнения свои Надя высказывала категорически и, вероятно, из-за всегдашнего недостатка времени в короткой форме. «Мура», – говорила она с большим количеством «р». Она следила за сводками Совинформбюро, была в курсе военных событий, вмешивалась в разговоры о политике. После летней поездки в колхоз Надя объясняла матери причины плохой производительности колхозного труда.

Своих школьных отметок она матери не показывала и лишь однажды растерянно сообщила:

– Знаешь, мне влепили четверку за поведение. Представляешь, математичка погнала меня из класса. Я, выходя, рывкнула «гуд бай!» – все так и грохнуло.

Как многие дети из обеспеченных семей, до войны не знавшие забот о материальных и кухонных делах, Надя в эвакуационное время много говорила о пайках, достоинствах и недостатках распределителей, знала преимущества постного масла перед коровьим, сильные и слабые стороны продельной крупы, выгоды кускового сахара перед песком.

– Знаешь что? – говорила она матери. – Я решила: давай мне с сегодняшнего дня чай с медом вместо чая со сгущенкой. По-моему, выгодней для меня, а тебе безразлично.

Иногда Надя становилась угрюма, с презрительной усмешкой говорила грубости старшим. Однажды она в присутствии матери сказала отцу: «Ты дурак», – сказала с такой злобой, что Штрум растерялся.

Иногда мать видела, как, читая книгу, Надя плачет. Она себя считала существом отсталым, неудачливым, обреченным прожить тусклую, тяжелую жизнь.

– Дружить со мной никто не хочет, я глупа, никому не интересна, – сказала она однажды за столом. – Замуж меня никто не возьмет, я кончу аптекарские курсы и уеду в деревню.

– В глухих деревнях аптек нет, – сказала Александра Владимировна.

– Касаемо замужества твой прогноз чрезмерно мрачен, – сказал Штрум. – Ты похорошела за последнее время.

– Плевать, – сказала Надя и злобно посмотрела на отца.

А ночью мать видела, как Надя, держа книжку в высунутой из-под одеяла голой, тонкой руке, читала стихи.

Однажды, принеся из академического распределителя сумку с двумя килограммами сливочного масла и большим пакетом риса, Надя сказала:

– Люди, и я в том числе, сволочи и подлецы, пользуются всем этим. И папа подло обменивает талант на сливочное масло. Как будто больным, малообразованным людям и слабеньким детям жить надо впроголодь оттого, что они не знают физики или не могут выполнить триста процентов плана... Лопать масло могут избранные.

А за ужином она вызывающе сказала:

– Мама, дай-ка мне двойной мед и масло, я ведь утром проспала.

Надя во многом походила на отца. Людмила Николаевна замечала, что Виктора Павловича особенно раздражают в дочери именно те черты, которыми она походила на него.

Однажды Надя, точно повторяя отцовскую интонацию, сказала о Постоеве:

– Жук, бездарность, ловчила!

Штрум возмущился:

– Как ты, недоучившаяся школьница, смеешь так говорить об академике?

Но Людмила помнила, что Виктор, будучи студентом, о многих академических знаменитостях говорил: «Ничтожество, бездарность, трепанг, карьерист!»

Людмила Николаевна понимала, что Наде живется нелегко, очень запутанный, одинокий и тяжелый у нее характер.

После ухода Нади пил чай Виктор Павлович. Скосив глаза, он смотрел в книгу, глотал, не прожевывая, делал глупое удивленное лицо, нащупывал пальцами стакан, не отрывая глаз от книги, говорил: «Налей мне, если можно, погорячей». Она знала все его жесты: то он начинал чесать голову, то выпячивал губу, то, сделав кривую рожу, ковырял в зубах, и она говорила:

– Господи, Витя, когда уж ты будешь зубы лечить?

Она знала, что он чесался и выпячивал губу, думая о своей работе, а вовсе не потому, что у него чесалась голова или свербило в носу. Знала, что если она скажет: «Витя, ты даже не слышишь, что я тебе говорю», он, продолжая косить глаза в сторону книги, скажет: «Я все слышу, могу повторить: «когда уж ты, Витя, будешь зубы лечить», – и опять удивится, глотнет, шизофренически накуксится, и все это будет означать, что он, просматривая работу знакомого физика, кое в чем согласен с ним, а кое в чем не согласен. Потом Виктор Павлович долго будет сидеть неподвижно, потом начнет кивать головой, как-то покорно, по-старчески тоскливо, – такое выражение лица и глаз, вероятно, бывает у людей, страдающих опухолью мозга. И опять Людмила Николаевна будет знать: Штрум думает о матери.

И, когда он пил чай, думал о своей работе, кричал, охваченный тоской, Людмила Николаевна смотрела на глаза, которые она целовала, на курчавые волосы, которые она перебирала, на губы, целовавшие ее, на ресницы, брови, на руки с маленькими, несильными пальцами, на которых она обрезала ногти, говоря: «Ох, неряха ты мой».

Она знала о нем все: его чтение детских книг в постели перед сном, его лицо, когда он шел чистить зубы, его звонкий, чуть дрожащий голос, когда он в парадном костюме начал свой доклад о нейтронном излучении. Она знала, что он любит украинский борщ с фасолью, знала, как он тихонько стонет во сне, переворачиваясь с боку на бок. Она знала, как он быстро снашивает каблук левого ботинка и грязнит рукава сорочек; знала, что он любит спать на двух

подушках; знала его тайный страх при переходе городских площадей, знала запах его кожи, форму дырок на его носках. Она знала, как он напевает, когда голоден и ждет обеда, какой формы ногти на больших пальцах его ног, знала уменьшительное имя, которым называла его в двухлетнем возрасте мать; знала его шаркающую походку; знала имена мальчишек, дравшихся с ним, когда он учился в старшем приготовительном классе. Она знала его насмешливость, привычку дразнить Толю, Надю, товарищей. Даже теперь, когда был он почти всегда в тяжелом настроении, Штрум дразнил ее тем, что близкий ей человек, Марья Ивановна Соколова, мало читала и однажды в разговоре спутала Бальзака с Флобером.

Дразнить Людмилу он умел мастерски, она всегда раздражалась. И теперь она сердито, всерьез возражала ему, защищая свою подругу:

– Ты всегда насмехаешься над теми, кто мне близок. У Машеньки безошибочный вкус, ей и не надо много читать, она всегда чувствует книгу.

– Конечно, конечно, – говорил он. – Она уверена, что «Макс и Мориц» написал Анатоль Франс.

Она знала его любовь к музыке, его политические взгляды. Она видела его однажды плачущим, видела, как он в бешенстве порвал на себе рубаху и, запутавшись в кальсонах, на одной ноге поскакал к ней, подняв кулак, готовый ударить. Она видела его жесткую, смелую прямооту, его вдохновение; видела его декламирующим стихи; видела его пьющим слабительное.

Она чувствовала, что муж сейчас обижен на нее, хотя в отношениях их, казалось, ничего не изменилось. Но изменение было, и выражалось оно в одном – он перестал говорить с ней о своей работе. Он говорил с ней о письмах от знакомых ученых, о продовольственных и промтоварных лимитах. Он говорил иногда и о делах в институте, в лаборатории, про обсуждение плана работ, рассказывал о сотрудниках: Савостьянов пришел на работу после ночной выпивки и уснул, лаборантки варили картошку под тягой, Марков готовит новую серию опытов.

Но о своей работе, о той внутренней, о которой он говорил во всем мире с одной лишь Людмилой, – он перестал говорить.

Он как-то жаловался Людмиле Николаевне, что, читая даже близким друзьям записи своих, не доведенных до конца размышлений, он испытывал на следующий день неприятное чувство, – работа ему кажется поблекшей, ему тяжело касаться ее.

Единственный человек, которому он выворачивал свои сомнения, читал отрывочные записи, фантастические и самонадеянные предположения, не испытывая после никакого осадка, была Людмила Николаевна.

Теперь он перестал говорить с ней.

Теперь, тоскуя, он находил облегчение в том, что обвинял Людмилу. Он постоянно и неотступно думал о матери. Он думал о том, о чем никогда не думал и о чем его заставил думать фашизм, – о своем еврействе, о том, что мать его еврейка.

Он в душе упрекал Людмилу за то, что она холодно относилась к его матери. Однажды он сказал ей:

– Если б ты сумела наладить с мамой отношения, она бы жила с нами в Москве.

А она перебирала в уме все грубое и несправедливое, что совершил Виктор Павлович по отношению к Толе, и, конечно, ей было что вспомнить.

Сердце ее ожесточалось, так несправедлив он был к пасынку, столько видел он в Толе плохого, так трудно прощал ему недостатки. А Наде отец прощал и грубость, и лень, и неряшливость, и нежелание помочь матери в домашних делах.

Она думала о матери Виктора Павловича, – судьба ее ужасна. Но как мог Виктор требовать от Людмилы дружбы к Анне Семеновне – ведь Анна Семеновна нехорошо относилась к Толе. Каждое ее письмо, каждый ее приезд в Москву были из-за этого невыносимы Людмиле. Надя, Надя, Надя... У Нади глаза Виктора... Надя держит вилку, как Виктор... Надя рассеянна, Надя остроумна, Надя задумчива. Нежность, любовь Анны Семеновны к сыну соединя-

лась с любовью и нежностью к внучке. А ведь Толя не держал вилку так, как держал ее Виктор Павлович.

И странно, – в последнее время она чаще, чем прежде, вспоминала Толиного отца, своего первого мужа. Ей хотелось разыскать его родных, его старшую сестру, и они радовались бы глазам Толи, сестра Абарчука узнавала бы в Толиных глазах, искривленном большом пальце, широком носе – глаза, руки, нос своего брата.

И так же, как она не хотела вспомнить Виктору Павловичу все хорошее в его отношении к Толе, она прощала Абарчуку все плохое, даже то, что он бросил ее с грудным ребенком, запретил дать Толе фамилию Абарчук.

Утром Людмила Николаевна оставалась дома одна. Она ждала этого часа, близкие мешали ей. Все события в мире, война, судьба сестер, работа мужа, Надин характер, здоровье матери, ее жалость к раненым, боль о погибших в немецком плену, – все рождалось ее болью о сыне, ее тревогой о нем.

Она чувствовала, что совсем из иной руды выплавляются чувства матери, мужа, дочери. Их привязанность и любовь к Толе казались ей неглубокими. Для нее мир был в Толе, для них Толя был лишь частью мира.

Шли дни, шли недели, письма от Толи не было.

Каждый день радио передавало сводки Совинформбюро, каждый день газеты были полны войной. Советские войска отступали. В сводках и газетах писалось об артиллерии. Толя служил в артиллерии. Письма от Толи не было.

Ей казалось: один человек по-настоящему понимал ее тоску – Марья Ивановна, жена Соколова.

Людмила Николаевна не любила дружить с профессорскими женами, ее раздражали разговоры о научных успехах мужей, платьях, домашних работницах. Но, вероятно, потому, что мягкий характер застенчивой Марьи Ивановны был противоположен ее характеру, и потому, что ее трогало отношение Марьи Ивановны к Толе, она очень привязалась к Марье Ивановне.

С ней Людмила говорила о Толе свободней, чем с мужем и матерью, и каждый раз ей становилось спокойней, легче на душе. И хотя Марья Ивановна почти каждый день заходила к Штрумам, Людмила Николаевна удивлялась, чего ж это так давно не приходит ее подруга, поглядывала в окно, не видно ли худенькой фигуры Марьи Ивановны, ее милого лица.

А писем от Толи не было.

16

Александра Владимировна, Людмила и Надя сидели на кухне. Время от времени Надя подкладывала в печь смятые листы ученической тетрадки, и угасавший красный свет освещался, печь заполнялась ворохом недолговечного пламени. Александра Владимировна, искоса поглядывая на дочь, сказала:

– Я вчера заходила к одной лаборантке на дом, господи, какая теснота, нищета, голодуха, мы тут, как цари; собрались соседки, зашел разговор, кто что больше любил до войны: одна говорит – телятину, вторая – рассольник. А девочка этой лаборантки говорит: «А я больше всего любила отбой».

Людмила Николаевна молчала, а Надя проговорила:

– Бабушка, у вас здесь уже образовалось больше миллиона знакомых.

– А у тебя никого.

– Ну и очень хорошо, – сказала Людмила Николаевна. – Витя стал часто ходить к Соколову. Там собирается всякий сброд, и я не понимаю, как Витя и Соколов могут целыми часами болтать с этими людьми... Как им не надоедает – толочь языками табачок. И как не жалеют Марью Ивановну, ей нужен покой, а при них ни прилечь, ни посидеть, да еще дымят всюю.

– Каримов, татарин, мне нравится, – сказала Александра Владимировна.

– Противный тип.

– Мама в меня, ей никто не нравится, – сказала Надя, – вот только Марья Ивановна.

– Удивительный вы народ, – сказала Александра Владимировна, – у вас есть какая-то своя московская среда, которую вы с собой привезли. В поездках, в клубе, в театре, – все это не ваш круг, а ваши – это те, что с вами в одном месте дачи построили, это и у Жени я наблюдала... Есть ничтожные признаки, по которым вы определяете людей своего круга: «Ах, она ничтожество, не любит Блока, а он примитив, не понимает Пикассо... Ах, она ему подарила хрустальную вазу. Это безвкусно...» Вот Виктор – демократ, ему плевать на все это декадентство.

– Чепуха, – сказала Людмила. – При чем тут дачи! Есть мещане с дачами и без дач, и не надо с ними встречаться, противно.

Александра Владимировна замечала, что дочь все чаще раздражается против нее.

Людмила Николаевна давала мужу советы, делала замечания Наде, выговаривала ей за проступки и прощала ей проступки, баловала ее и отказывала в баловстве и ощущала, что у матери свое отношение к ее действиям. Александра Владимировна не высказывала этого своего отношения, но оно существовало. Случалось, что Штрум переглядывался с тещей и в глазах его появлялось выражение насмешливого понимания, словно он предварительно обсуждал странности Людмилиного характера с Александрой Владимировной. И тут не имело значения, обсуждали они или не обсуждали, а дело было в том, что появилась в семье новая сила, изменившая одним своим присутствием привычные отношения.

Виктор Павлович однажды сказал Людмиле, что на ее месте уступил бы матери главенство, пусть чувствует себя хозяйкой, а не гостьей.

Людмиле Николаевне слова мужа показались неискренними, ей даже подумалось, что он хочет подчеркнуть свое особенное, сердечное отношение к ее матери и этим невольно напоминает о холодном отношении Людмилы к Анне Семеновне.

Смешно и стыдно было бы признаться ему в этом, она иногда к детям ревновала его, особенно к Наде. Но сейчас это не была ревность. Как признаться даже самой себе в том, что мать, потерявшая кров, нашедшая приют в ее доме, раздражает ее и тяготит. Да и странным было это раздражение, оно ведь существовало рядом с любовью, рядом с готовностью отдать Александре Владимировне, если понадобится, свое последнее платье, поделиться последним куском хлеба.

А Александра Владимировна вдруг чувствовала, что ей хочется то беспричинно заплакать, то умереть, то не прийти вечером домой и остаться ночевать на полу у сослуживицы, то вдруг собраться и уехать в сторону Сталинграда, разыскать Сережу, Веру, Степана Федоровича.

Александра Владимировна большей частью одобряла поступки и высказывания зятя, а Людмила почти всегда не одобряла его. Надя заметила это и говорила отцу:

– Пойди пожалуйся бабушке, что мама тебя обижает.

Вот и теперь Александра Владимировна сказала:

– Вы живете, как совы. А Виктор нормальный человек.

– Все это слова, – сказала, морщась, Людмила. – А придет день отъезда в Москву, и вы с Виктором будете счастливы.

Александра Владимировна вдруг сказала:

– Знаешь что, милая моя, когда придет день возвращения в Москву, я не поеду с вами, а останусь здесь, мне в Москве в твоём доме места нет. Понятно тебе? Уговорю Женю сюда перебраться либо к ней соберусь в Куйбышев.

То был трудный миг в отношениях матери и дочери. Все, что лежало тяжелого на душе у Александры Владимировны, было высказано в ее отказе ехать в Москву. Все, что собралось тяжелого на душе у Людмилы Николаевны, стало от этого явным, как будто бы произнесенным. Но Людмила Николаевна обиделась, словно она ни в чем не была виновата перед матерью.

А Александра Владимировна глядела на страдающее лицо Людмилы и чувствовала себя виноватой. По ночам Александра Владимировна чаще всего думала о Сереже, – то вспоминала его вспышки, споры, то представляла себе его в военной форме, его глаза, вероятно, стали еще больше, он ведь похудел, щеки ввалились. Особое чувство вызывал в ней Сережа – сын ее несчастного сына, которого она любила, казалось, больше всех на свете... Она говорила Людмиле:

– Не мучься ты так о Толе, поверь, что я беспокоюсь о нем не меньше тебя.

Что-то было фальшивое, оскорблявшее ее любовь к дочери в этих словах, – не так уж она беспокоилась о Толе. Вот и сейчас обе, прямые до жестокости, испугались своей прямоты и отказывались от нее.

– «Правда хорошо, а любовь лучше», новая пьеса Островского, – протяжно произнесла Надя, и Александра Владимировна неприязненно, даже с каким-то испугом посмотрела на девочку-десятиклассницу, сумевшую разобраться в том, в чем она сама еще не разобралась.

Вскоре пришел Виктор Павлович. Он открыл дверь своим ключом и внезапно появился на кухне.

– Приятная неожиданность, – сказала Надя. – Мы считали, что ты застрянешь допоздна у Соколовых.

– А-а, все уже дома, все у печки, очень рад, чудесно, чудесно, – произнес он, протянул руки к печному огню.

– Вытри нос, – сказала Людмила. – Что же чудесного, я не пойму?

Надя прыснула и сказала, подражая материнской интонации:

– Ну, вытри нос, тебе ведь русским языком говорят.

– Надя, Надя, – предостерегающе сказала Людмила Николаевна: она ни с кем не делила свое право воспитывать мужа.

Виктор Павлович произнес:

– Да-да, очень холодный ветер.

Он пошел в комнату, и через открытую дверь было видно, как он сел за стол.

– Папа опять пишет на переплете книги, – проговорила Надя.

– Не твое дело, – сказала Людмила Николаевна и стала объяснять матери: – Почему он так обрадовался, – все дома? У него псих, беспокоится, если кого-нибудь нет дома. А сейчас он чего-то там недодумал и обрадовался, не надо будет отвлекаться беспокойствами.

– Тише, ведь действительно ему мешаем, – сказала Александра Владимировна.

– Наоборот, – сказала Надя, – говоришь громко, он не обращает внимания, а если говорить шепотом, он явится и спросит: «Что это вы там шепчетесь?»

– Надя, ты говоришь об отце, как экскурсовод, который рассказывает об инстинктах животных.

Они одновременно рассмеялись, переглянулись.

– Мама, как вы могли так обидеть меня? – сказала Людмила Николаевна.

Мать молча погладила ее по голове.

Потом они ужинали на кухне. Виктору Павловичу казалось – какой-то особой прелестью обладало в этот вечер кухонное тепло.

То, что составляло основу его жизни, продолжалось. Мысль о неожиданном объяснении противоречивых опытов, накопленных лабораторией, неотступно занимала его последнее время.

Сидя за кухонным столом, он испытывал странное счастливое нетерпение, – пальцы рук сводило от сдерживаемого желания взяться за карандаш.

– Изумительная сегодня гречневая каша, – сказал он, стуча ложкой в пустой тарелке.

– Это намек? – спросила Людмила Николаевна.

Пододвигая жене тарелку, он спросил:

– Люда, ты помнишь, конечно, гипотезу Проута?

Людмила Николаевна, недоумевая, подняла ложку.

– Это о происхождении элементов, – сказала Александра Владимировна.

– Ах, ну помню, – проговорила Людмила, – все элементы из водорода. Но при чем тут каша?

– Каша? – переспросил Виктор Павлович. – А вот с Проутом произошла такая история: он высказал правильную гипотезу в большей мере потому, что в его время существовали грубые ошибки в определении атомных весов. Если бы при нем определили атомные веса с точностью, какой достигли Дюма и Стас, он бы не решился предположить, что атомные веса элементов кратны водороду. Оказался прав потому, что ошибался.

– А при чем тут все же каша? – спросила Надя.

– Каша? – переспросил удивленно Штрум и, вспомнив, сказал: – Каша ни при чем... В этой каше трудно разобраться, понадобилось сто лет, чтобы разобраться.

– Это тема вашей лекции сегодняшней? – спросила Александра Владимировна.

– Нет, пустое, я ведь и лекций не читаю, ни к селу ни к городу.

Он поймал взгляд жены и почувствовал, – она понимала: интерес к работе вновь будоражил его.

– Как жизнь? – спросил Штрум. – Приходила к тебе Марья Ивановна? Читала тебе небось «Мадам Бовари», сочинение Бальзака?

– А ну тебя, – сказала Людмила Николаевна.

Ночью Людмила Николаевна ждала, что муж заговорит с ней о своей работе. Но он молчал, и она ни о чем не спросила его.

17

Какими наивными представились Штруму идеи физиков в середине девятнадцатого века, взгляды Гельмгольца, сводившего задачи физической науки к изучению сил притяжения и отталкивания, зависящих от одного лишь расстояния.

Силовое поле – душа материи! Единство, объединяющее волну энергии и материальную корпускулу... зернистость света... ливень ли он светлых капель или молниеносная волна?

Квантовая теория поставила на место законов, управляющих физическими индивидуальностями, новые законы – законы вероятностей; законы особой статистики, отбросившей понятие индивидуальности, признающей лишь совокупности, физики прошлого века напомнили Штруму людей с нафабранными усами, в костюмах со стоячими крахмальными воротниками и с твердыми манжетами, столпившихся вокруг бильярдного стола. Глубокомысленные мужи, вооруженные линейками и часами-хронометрами, хмуря густые брови, измеряют скорости и ускорения, определяют массы упругих шаров, заполняющих мировое зеленое суконное пространство.

Но пространство, измеренное металлическими стержнями и линейками, время, отмеренное совершеннейшими часами, вдруг стали искривляться, растягиваться и сплющиваться. Их незыблемость оказалась не фундаментом науки, а решетками и стенами ее тюрьмы. Пришла пора Страшного суда, тысячелетние истины были объявлены заблуждениями. В старинных предрассудках, ошибках, неточностях, словно в коконах, столетиями спала истина.

Мир стал неевклидовым, его геометрическая природа формировалась массами и их скоростями.

С нараставшей стремительностью шло научное движение в мире, освобожденном Эйнштейном от оков абсолютного времени и пространства.

Два потока – один, стремящийся вместе со вселенными, второй, стремящийся проникнуть в атомное ядро, – разбегаясь, не терялись один для другого, хотя один бежал в мире парсеков, другой мерился миллимикронами. Чем глубже уходили физики в недра атома, тем ясней становились для них законы, определяющие свечение звезд. Красное смещение по лучу зрения в спектрах далеких галактик породило представление о разбегающихся в бесконечном пространстве вселенных. Но стоило предпочесть конечное чечевицеобразное, искривленное скоростями и массами пространство, и можно было представить себе, что расширением охвачено само пространство, увлекающее за собой галактики.

Штрум не сомневался: нет в мире человека счастливей ученого... Иногда – утром, по дороге в институт, и во время вечерней прогулки, и вот сегодня ночью, когда он думал о своей работе, – его охватывало чувство счастья, смирения и восторга.

Силы, наполняющие Вселенную тихим светом звезд, высвобождались при превращении водорода в гелий...

За два года до войны два молодых немца расщепили нейтронами тяжелые атомные ядра, и советские физики в своих исследованиях, придя другими путями к сходным результатам, вдруг ощутили то, что сто тысяч лет назад испытал пещерный человек, зажигая свой первый костер...

Конечно, в двадцатом веке главное направление определяет физика... Вот так же, как в 1942 году направлением главного удара для всех фронтов мировой войны стал Сталинград.

Но следом, вплотную, по пятам, шли за Штрумом сомнения, страдание, неверие.

18

«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто. Твой ответ я никогда не получу, меня не будет. Я хочу, чтобы ты знал о моих последних днях, с этой мыслью мне легче уйти из жизни.

Людей, Витя, трудно понять по-настоящему... Седьмого июля немцы ворвались в город. В городском саду радио передавало последние известия, я шла из поликлиники после приема больных и остановилась послушать, дикторша читала по-украински статью о боях. Я услышала отдаленную стрельбу, потом через сад побежали люди, я пошла к дому и все удивлялась, как это пропустила сигнал воздушной тревоги. И вдруг я увидела танк, и кто-то крикнул: «Немцы прорвались!»

Я сказала: «Не сейте панику»; накануне я заходила к секретарю горсовета, спросила его об отъезде, он рассердился: «Об этом рано говорить, мы даже списков не составляли». Словом, это были немцы. Всю ночь соседи ходили друг к другу, спокойней всех были малые дети да я. Решила – что будет со всеми, то будет и со мной. Вначале я ужаснулась, поняла, что никогда тебя не увижу, и мне страстно захотелось еще раз посмотреть на тебя, поцеловать твой лоб, глаза, а потом я подумала – ведь счастье, что ты в безопасности.

Под утро я заснула и, когда проснулась, почувствовала страшную тоску. Я была в своей комнате, в своей постели, но ощутила себя на чужбине, затерянная, одна.

Этим же утром мне напомнили забытое за годы советской власти, что я еврейка. Немцы ехали на грузовике и кричали: «Juden kaputt!»

А затем мне напомнили об этом некоторые мои соседи. Жена дворника стояла под моим окном и говорила соседке: «Слава богу, жидам конец». Откуда это? Сын ее женат на еврейке, и старуха ездила к сыну в гости, рассказывала мне о внуках.

Соседка моя, вдова, у нее девочка 6 лет, Аленушка, синие, чудные глаза, я тебе писала о ней когда-то, зашла ко мне и сказала: «Анна Семеновна, попрошу вас к вечеру убрать вещи, я переберусь в вашу комнату». «Хорошо, я тогда перееду в вашу». «Нет, вы переберетесь в каморку за кухней».

Я отказалась, там ни окна, ни печки.

Я пошла в поликлинику, а когда вернулась, оказалось: дверь в мою комнату взломали, мои вещи свалили в каморке. Соседка мне сказала: «Я оставила у себя диван, он все равно не влезет в вашу новую комнатку».

Удивительно, она кончила техникум, и покойный муж ее был славный и тихий человек, бухгалтер в Укопспилке. «Вы вне закона», – сказала она таким тоном, словно ей это очень выгодно. А ее дочь Аленушка сидела у меня весь вечер, и я ей рассказывала сказки. Это было мое новоселье, и она не хотела идти спать, мать ее унесла на руках. А затем, Витенька, поликлинику нашу вновь открыли, а меня и еще одного врача-еврея уволили. Я попросила деньги за проработанный месяц, но новый заведующий мне сказал: «Пусть вам Сталин платит за то, что вы заработали при советской власти, напишите ему в Москву». Санитарка Маруся обняла меня и тихонько запричитала: «Господи, боже мой, что с вами будет, что с вами всеми будет». И доктор Ткачев пожал мне руку. Я не знаю, что тяжелей: злорадство или жалостливые взгляды, которыми глядят на подышающую, шелудивую кошку. Не думала я, что придется мне все это пережить.

Многие люди поразили меня. И не только темные, озлобленные, безграмотные. Вот старик педагог, пенсионер, ему 75 лет, он всегда спрашивал о тебе, просил передать привет, говорил о тебе: «Он наша гордость». А в эти дни проклятые, встретив меня, не поздоровался, отвернулся. А потом мне рассказывали, – он на собрании в комендатуре говорил: «Воздух очистился, не пахнет чесноком». Зачем ему это – ведь эти слова его пачкают. И на том же собрании

сколько клеветы на евреев было... Но, Витенька, конечно, не все пошли на это собрание. Многие отказались. И, знаешь, в моем сознании с царских времен антисемитизм связан с квасным патриотизмом людей из «Союза Михаила Архангела». А здесь я увидела, – те, что кричат об избавлении России от евреев, унижаются перед немцами, по-лакейски жалки, готовы продать Россию за тридцать немецких серебреников. А темные люди из пригорода ходят грабить, захватывают квартиры, одеяла, платья; такие, вероятно, убивали врачей во время холерных бунтов. А есть душевно вялые люди, они поддакивают всему дурному, лишь бы их не заподозрили в несогласии с властями.

Ко мне беспрерывно прибегают знакомые с новостями, глаза у всех безумные, люди как в бреду. Появилось странное выражение: «перепрятывать вещи». Кажется, что у соседа надежней. Перепрятывание вещей напоминает мне игру.

Вскоре объявили о переселении евреев, разрешили взять с собой 15 килограммов вещей. На стенах домов висели желтенькие объявления: «Всем жидам предлагается переселиться в район Старого города не позднее шести часов вечера 15 июля 1941 года». Не переселившимся – расстрел.

Ну вот, Витенька, собралась и я. Взяла я с собой подушку, немного белья, чашечку, которую ты мне когда-то подарил, ложку, нож, две тарелки. Много ли человеку нужно? Взяла несколько инструментов медицинских. Взяла твои письма, фотографии покойной мамы и дяди Давида и ту, где ты с папой снят, томик Пушкина, «Lettres de mon moulin», томик Мопассана, где «Une vie», словарь, взяла Чехова, где «Скучная история» и «Архиерей», – вот и, оказалось, заполнила всю свою корзинку. Сколько я под этой крышей тебе писем написала, сколько часов ночью проплакала, теперь уж скажу тебе, о своем одиночестве.

Простилась с домом, с садиком, посидела несколько минут под деревом, простилась с соседями. Странно устроены некоторые люди. Две соседки при мне стали спорить о том, кто возьмет себе стулья, кто письменный столик, а стала с ними прощаться, обе заплакали. Попросила соседей Басанько, если после войны ты приедешь узнать обо мне, пусть расскажут поподробней – и мне обещали. Тронула меня собачонка, дворняжка Тобик, – последний вечер как-то особенно ласкалась ко мне.

Если приедешь, ты ее покорми за хорошее отношение к старой жидовке.

Когда я собралась в путь и думала, как мне дотащить корзину до Старого города, неожиданно пришел мой пациент Щукин, угрюмый и, как мне казалось, черствый человек. Он взялся понести мои вещи, дал мне триста рублей и сказал, что будет раз в неделю приносить мне хлеб к ограде. Он работает в типографии, на фронт его не взяли по болезни глаз. До войны он лечился у меня, и если бы мне предложили перечислить людей с отзывчивой, чистой душой, – я назвала бы десятки имен, но не его. Знаешь, Витенька, после его прихода я снова почувствовала себя человеком, значит, ко мне не только дворовая собака может относиться по-человечески.

Он рассказал мне, – в городской типографии печатается приказ: евреям запрещено ходить по тротуарам, они должны носить на груди желтую лату в виде шестиконечной звезды, они не имеют права пользоваться транспортом, банями, посещать амбулатории, ходить в кино, запрещается покупать масло, яйца, молоко, ягоды, белый хлеб, мясо, все овощи, исключая картошку; покупки на базаре разрешается делать только после шести часов вечера (когда крестьяне уезжают с базара). Старый город будет обнесен колючей проволокой, и выход за проволоку запрещен, можно только под конвоем на принудительные работы. При обнаружении еврея в русском доме – хозяину расстрел, как за укрытие партизана.

Тесть Щукина, старик крестьянин, приехал из соседнего местечка Чуднова и видел своими глазами, что всех местных евреев с узлами и чемоданами погнали в лес, и оттуда в течение всего дня доносились выстрелы и дикие крики, ни один человек не вернулся. А немцы, стоявшие на квартире у тестя, пришли поздно вечером – пьяные, и еще пили до утра, пели и при

старике делили между собой брошки, кольца, браслеты. Не знаю, случайный ли это произвол или предвестие ждущей и нас судьбы?

Как печален был мой путь, сыночек, в средневековое гетто. Я шла по городу, в котором проработала 20 лет. Сперва мы шли по пустынной Свечной улице. Но когда мы вышли на Никольскую, я увидела сотни людей, шедших в это проклятое гетто. Улица стала белой от узлов, от подушек. Больных вели под руки. Парализованного отца доктора Маргулиса несли на одеяле. Один молодой человек нес на руках старуху, а за ним шли жена и дети, нагруженные узлами. Заведующий магазином бакалеи Гордон, толстый, с одышкой, шел в пальто с меховым воротником, а по лицу его тек пот. Поразил меня один молодой человек: он шел без вещей, подняв голову, держа перед собой раскрытую книгу, с надменным и спокойным лицом. Но сколько рядом было безумных, полных ужаса.

Шли мы по мостовой, а на тротуарах стояли люди и смотрели.

Одно время я шла с Маргулисами и слышала сочувственные вздохи женщин. А над Гордоном в зимнем пальто смеялись, хотя, поверь, он был ужасен, не смешон. Видела много знакомых лиц. Одни слегка кивали мне, прощаясь, другие отворачивались. Мне кажется, в этой толпе равнодушных глаз не было; были любопытные, были безжалостные, но несколько раз я видела заплаканные глаза.

Я посмотрела – две толпы, евреи в пальто, шапках, женщины в теплых платках, а вторая толпа на тротуаре одета по-летнему. Светлые кофточки, мужчины без пиджаков, некоторые в вышитых украинских рубахах. Мне показалось, что для евреев, идущих по улице, уже и солнце отказалось светить, они идут среди декабрьской ночной стужи.

У входа в гетто я простилась с моим спутником, он мне показал место у проволочного заграждения, где мы будем встречаться.

Знаешь, Витенька, что я испытала, попав за проволоку? Я думала, что почувствую ужас. Но, представь, в этом загоне для скота мне стало легче на душе. Не думай, не потому, что у меня рабская душа. Нет. Нет. Вокруг меня были люди одной судьбы, и в гетто я не должна, как лошадь, ходить по мостовой, и нет взоров злобы, и знакомые люди смотрят мне в глаза и не избегают со мной встречи. В этом загоне все носят печать, поставленную на нас фашистами, и поэтому здесь не так жжет мою душу эта печать. Здесь я себя почувствовала не бесправным скотом, а несчастным человеком. От этого мне стало легче.

Я поселилась вместе со своим коллегой, доктором-терапевтом Шперлингом, в мазаном домике из двух комнат. У Шперлингов две взрослые дочери и сын, мальчик лет двенадцати. Я подолгу смотрю на его худенькое личико и печальные большие глаза; его зовут Юра, а я раза два называла его Витей, и он меня поправлял: «Я Юра, а не Витя».

Как различны характеры людей! Шперлинг в свои пятьдесят восемь лет полон энергии. Он раздобыл матрацы, керосин, подводу дров. Ночью внесли в домик мешок муки и полмешка фасоли. Он радуется всякому своему успеху, как молодожен. Вчера он развешивал коврики. «Ничего, ничего, все переживем, – повторяет он. – Главное, запастись продуктами и дровами».

Он сказал мне, что в гетто следует устроить школу. Он даже предложил мне давать Юре уроки французского языка и платить за урок тарелкой супа. Я согласилась.

Жена Шперлинга, толстая Фанни Борисовна, вздыхает: «Все погибло, мы погибли», – но при этом следит, чтобы ее старшая дочь Люба, доброе и милое существо, не дала кому-нибудь горсть фасоли или ломтик хлеба. А младшая, любимица матери, Аля – истинное исчадие ада: властная, подозрительная, скупая; она кричит на отца, на сестру. Перед войной она приехала погостить из Москвы и застряла.

Боже мой, какая нужда вокруг! Если бы те, кто говорят о богатстве евреев и о том, что у них всегда накоплено на черный день, посмотрели на наш Старый город. Вот он и пришел, черный день, чернее не бывает. Ведь в Старом городе не только переселенные с 15 килограммами багажа, здесь всегда жили ремесленники, старики, рабочие, санитарки. В какой ужасной

тесноте жили они и живут. Как едят! Посмотрел бы ты на эти полуразваленные, вросшие в землю хибарки.

Витенька, здесь я вижу много плохих людей – жадных, трусливых, хитрых, даже готовых на предательство, есть тут один страшный человек, Эпштейн, попавший к нам из какого-то польского городка, он носит повязку на рукаве и ходит с немцами на обыски, участвует в допросах, пьянствует с украинскими полициями, и они посылают его по домам вымогать водку, деньги, продукты. Я раза два видела его – рослый, красивый, в франтовском кремовом костюме, и даже желтая звезда, пришитая к его пиджаку, выглядит, как желтая хризантема.

Но я хочу тебе сказать и о другом. Я никогда не чувствовала себя еврейкой, с детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьеса, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских земских врачей, была «Дядя Ваня» со Станиславским. А когда-то, Витенька, когда я была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку. И я сказала папе: «Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь». И не уехала.

А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок.

Я хожу к больным на дом. В крошечные комнатки втиснуты десятки людей: полуслепые старики, грудные дети, беременные. Я привыкла в человеческих глазах искать симптомы болезней – глаукомы, катаракты. Я теперь не могу так смотреть в глаза людям, – в глазах я вижу лишь отражение души. Хорошей души, Витенька! Печальной и доброй, усмехающейся и обреченной, побежденной насилием и в то же время торжествующей над насилием. Сильной, Витя, души!

Если бы ты видел, с каким вниманием старики и старухи расспрашивают меня о тебе. Как сердечно утешают меня люди, которым я ни на что не жалуясь, люди, чье положение ужасней моего.

Мне иногда кажется, что не я хожу к больным, а, наоборот, народный добрый врач лечит мою душу. А как трогательно вручают мне за лечение кусок хлеба, луковку, горсть фасоли.

Поверь, Витенька, это не плата за визиты! Когда пожилой рабочий пожимает мне руку и вкладывает в сумочку две-три картофелины и говорит: «Ну, ну, доктор, я вас прошу», у меня слезы выступают на глазах. Что-то в этом такое есть чистое, отеческое, доброе, не могу словами передать тебе это.

Я не хочу утешать тебя тем, что легко жила это время, ты удивляйся, как мое сердце не разорвалось от боли. Но не мучься мыслью, что я голодала, я за все это время ни разу не была голодна. И еще – я не чувствовала себя одинокой.

Что сказать тебе о людях, Витя? Люди поражают меня хорошим и плохим. Они необычайно разные, хотя все переживают одну судьбу. Но, представь себе, если во время грозы большинство старается спрятаться от ливня, это еще не значит, что все люди одинаковы. Да и прячется от дождя каждый по-своему...

Доктор Шперлинг уверен, что преследования евреев временные, пока война. Таких, как он, немало, и я вижу, чем больше в людях оптимизма, тем они мелочней, тем эгоистичней. Если во время обеда приходит кто-нибудь, Аля и Фанни Борисовна немедленно прячут еду.

Ко мне Шперлинги относятся хорошо, тем более что я ем мало и приношу продуктов больше, чем потребляю. Но я решила уйти от них, они мне неприятны. Подыскиваю себе уголок. Чем больше печали в человеке, чем меньше он надеется выжить, тем он шире, добрее, лучше.

Беднота, жестянщики, портняги, обреченные на гибель, куда благородней, шире и умней, чем те, кто ухитрились запасти кое-какие продукты. Молоденькие учительницы, чудик – старый учитель и шахматист Шпильберг, тихие библиотекарши, инженер Рейвич, который беспо-

мощней ребенка и мечтает вооружить гетто самодельными гранатами, – что за чудные, непрактичные, милые, грустные и добрые люди.

Здесь я вижу, что надежда почти никогда не связана с разумом, она бессмысленна, я думаю, ее родил инстинкт.

Люди, Витя, живут так, как будто впереди долгие годы. Нельзя понять, глупо это или умно, просто так оно есть. И я подчинилась этому закону. Здесь пришли две женщины из местечка и рассказывают то же, что рассказывал мне мой друг. Немцы в округе уничтожают всех евреев, не щадя детей, стариков. Приезжают на машинах немцы и полицаи и берут несколько десятков мужчин на полевые работы, они копают рвы, а затем, через два-три дня немцы гонят еврейское население к этим рвам и расстреливают всех поголовно. Всюду в местечках вокруг нашего города вырастают эти еврейские курганы.

В соседнем доме живет девушка из Польши. Она рассказывает, что там убийства идут постоянно, евреев вырезают всех до единого, и евреи сохранились лишь в нескольких гетто – в Варшаве, в Лодзи, Радоме. И когда я все это обдумала, для меня стало совершенно ясно, что нас здесь собрали не для того, чтобы сохранить, как зубров в Беловежской пуще, а для убоя. По плану дойдет и до нас очередь через неделю, две. Но, представь, понимая это, я продолжаю лечить больных и говорю: «Если будете систематически промывать лекарством глаза, то через две-три недели выздоровеете». Я наблюдаю старика, которому можно будет через полгода-год снять катаракту.

Я задаю Юре уроки французского языка, огорчаюсь его неправильному произношению.

А тут же немцы, врываясь в гетто, грабят, часовые, развлекаясь, стреляют из-за проволоки в детей, и все новые, новые люди подтверждают, что наша судьба может решиться в любой день.

Вот так оно происходит – люди продолжают жить. У нас тут даже недавно была свадьба. Слухи рождаются десятками. То, задыхаясь от радости, сосед сообщает, что наши войска перешли в наступление и немцы бегут. То вдруг рождается слух, что советское правительство и Черчилль предъявили немцам ультиматум, и Гитлер приказал не убивать евреев. То сообщают, что евреев будут обменивать на немецких военнопленных.

Оказывается, нигде нет столько надежд, как в гетто. Мир полон событий, и все события, смысл их, причина, всегда одни – спасение евреев. Какое богатство надежды!

А источник этих надежд один – жизненный инстинкт, без всякой логики сопротивляющийся страшной необходимости погибнуть нам всем без следа. И вот смотрю и не верю: неужели все мы – приговоренные, ждущие казни? Парикмахеры, сапожники, портные, врачи, печники – все работают. Открылся даже маленький родильный дом, вернее, подобие такого дома. Сохнет белье, идет стирка, готовится обед, дети ходят с 1 сентября в школу, и матери расспрашивают учителей об отметках ребят.

Старик Шпильберг отдал в переплет несколько книг. Аля Шперлинг занимается по утрам физкультурой, а перед сном наворачивает волосы на папильотки, ссорится с отцом, требует себе какие-то два летних отреза.

И я с утра до ночи занята – хожу к больным, даю уроки, штопаю, стираю, готовлюсь к зиме, подшиваю вату под осеннее пальто. Я слушаю рассказы о карах, обрушившихся на евреев, – знакомую, жену юрисконсульта, избили до потери сознания за покупку утиного яйца для ребенка; мальчику, сыну провизора Сироты, прострелили плечо, когда он пробовал пролезть под проволокой и достать закатившийся мяч. А потом снова слухи, слухи, слухи.

Вот и не слухи. Сегодня немцы угнали восемьдесят молодых мужчин на работы, якобы копать картошку, и некоторые люди радовались – сумеют принести немного картошки для родных. Но я поняла, о какой картошке идет речь.

Ночь в гетто – особое время, Витя. Знаешь, друг мой, я всегда приучала тебя говорить мне правду, сын должен всегда говорить матери правду. Но и мать должна говорить сыну

правду. Не думай, Витенька, что твоя мама сильный человек. Я – слабая. Я боюсь боли и трушу, садясь в зубоврачебное кресло. В детстве я боялась грома, боялась темноты. Старухой я боялась болезней, одиночества, боялась, что, заболев, не смогу работать, сделаюсь обузой для тебя и ты мне дашь это почувствовать. Я боялась войны. Теперь по ночам, Витя, меня охватывает ужас, от которого леденеет сердце. Меня ждет гибель. Мне хочется звать тебя на помощь.

Когда-то ты ребенком прибежал ко мне, ища защиты. И теперь в минуты слабости мне хочется спрятать свою голову на твоих коленях, чтобы ты, умный, сильный, прикрыл ее, защитил. Я не только сильна духом, Витя, я и слаба. Часто думаю о самоубийстве, но я не знаю, слабость, или сила, или бессмысленная надежда удерживают меня.

Но хватит. Я засыпаю и вижу сны. Часто вижу покойную маму, разговариваю с ней. Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову, когда вместе жили в Париже. Но тебя ни разу не видела во сне, хотя всегда думаю о тебе, даже в минуты ужасного волнения. Просыпаюсь, и вдруг этот потолок, и я вспоминаю, что на нашей земле немцы, я прокаженная, и мне кажется, что я не проснулась, а, наоборот, заснула и вижу сон.

Но проходит несколько минут, я слышу, как Аля спорит с Любой, чья очередь отправиться к колодцу, слышу разговоры о том, что ночью на соседней улице немцы проломили голову старику.

Ко мне пришла знакомая, студентка педтехникума, и позвала к больному. Оказалось, она скрывает лейтенанта, раненного в плечо, с обожженным глазом. Милый, измученный юноша с волжской, окающей речью. Он ночью пробрался за проволоку и нашел приют в гетто. Глаз у него оказался поврежден несильно, я сумела приостановить нагноение. Он много рассказывал о боях, о бегстве наших войск, навел на меня тоску. Хочет отдохнуть и пойти через линию фронта. С ним пойдут несколько юношей, один из них был моим учеником. Ох, Витенька, если б я могла пойти с ними! Я так радовалась, оказывая помощь этому парню, мне казалось, вот и я участвую в войне с фашизмом.

Ему принесли картошки, хлеба, фасоли, а какая-то бабушка связала ему шерстяные носки.

Сегодня день наполнен драматизмом. Накануне Аля через свою русскую знакомую достала паспорт умершей в больнице молодой русской девушки. Ночью Аля уйдет. И сегодня мы узнали от знакомого крестьянина, проезжавшего мимо ограды гетто, что евреи, посланные копать картошку, роют глубокие рвы в четырех верстах от города, возле аэродрома, по дороге на Романовку. Запомни, Витя, это название, там ты найдешь братскую могилу, где будет лежать твоя мать.

Даже Шперлинг понял все, весь день бледен, губы дрожат, растерянно спрашивает меня: «Есть ли надежда, что специалистов оставят в живых?» Действительно, рассказывают, в некоторых местечках лучших портных, сапожников и врачей не подвергли казни.

И все же вечером Шперлинг позвал старика печника, и тот сделал тайник в стене для муки и соли. И я вечером с Юрой читала «Lettres de mon moulin». Помнишь, мы читали вслух мой любимый рассказ «Les vieux» и переглянулись с тобой, рассмеялись, и у обоих слезы были на глазах. Потом я задала Юре уроки на послезавтра. Так нужно. Но какое щемящее чувство у меня было, когда я смотрела на печальное личико моего ученика, на его пальцы, записывающие в тетрадку номера заданных ему параграфов грамматики.

И сколько этих детей: чудные глаза, темные кудрявые волосы, среди них есть, наверное, будущие ученые, физики, медицинские профессора, музыканты, может быть, поэты.

Я смотрю, как они бегут по утрам в школу, не по-детски серьезные, с расширенными трагическими глазами. А иногда они начинают возиться, дерутся, хохочут, и от этого на душе не веселей, а ужас охватывает.

Говорят, что дети наше будущее, но что скажешь об этих детях? Им не стать музыкантами, сапожниками, закройщиками. И я ясно сегодня ночью представила себе, как весь этот

шумный мир бородатых, озабоченных папаш, ворчливых бабушек, создательниц медовых пряников, гусиных шеек, мир свадебных обычаев, поговорок, субботних праздников уйдет навек в землю, и после войны жизнь снова зашумит, а нас не будет, мы исчезнем, как исчезли ацтеки.

Крестьянин, который привез весть о подготовке могил, рассказывает, что его жена ночью плакала, причитала: «Они и шьют, и сапожники, и кожу выделывают, и часы чинят, и лекарства в аптеке продают... Что ж это будет, когда их всех поубивают?»

И так ясно я увидела, как, проходя мимо развалин, кто-нибудь скажет: «Помнишь, тут жили когда-то евреи, печник Борух; в субботний вечер его старуха сидела на скамейке, а возле нее играли дети». А второй собеседник скажет: «А вон под той старой грушей-кислицей обычно сидела докторша, забыл ее фамилию, я у нее когда-то лечил глаза, после работы она всегда выносила плетеный стул и сидела с книжкой». Так оно будет, Витя.

Как будто страшное дуновение прошло по лицам, все почувствовали, что приближается срок.

Витенька, я хочу сказать тебе... нет, не то, не то.

Витенька, я заканчиваю свое письмо и отнесу его к ограде гетто и передам своему другу. Это письмо нелегко оборвать, оно – мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно уйду от тебя, ты уж никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твое первое письмо, первый школьный день, все, все вспоминала от первых дней твоей жизни до последней весточки от тебя, телеграммы, полученной 30 июня. Я закрывала глаза, и мне казалось – ты заслонил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не возле меня – пусть ужасная судьба минет тебя.

Витя, я всегда была одинока. В бессонные ночи я плакала от тоски. Ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разошлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. И я часто думала, как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки, безумствовала, ревновала, что ее ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя, слишком я тебя любила, думала, что любовь дает мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой, слишком я тебя любила.

Ну, enfin... Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал для тебя ближе матери. Прости меня.

С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания.

Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.

Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, ее никто не в силах убить.

Витенька... Вот и последняя строка последнего маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно... Мама».

19

Никогда до войны Штрум не думал о том, что он еврей, что мать его еврейка. Никогда мать не говорила с ним об этом – ни в детстве, ни в годы студенчества. Никогда за время учения в Московском университете ни один студент, профессор, руководитель семинара не заговорил с ним об этом.

Никогда до войны в институте, в Академии наук не пришлось ему слышать разговоры об этом.

Никогда, ни разу не возникало в нем желания говорить об этом с Надей – объяснять ей, что мать у нее русская, а отец еврей.

Век Эйнштейна и Планка оказался веком Гитлера. Гестапо и научный ренессанс рождены одним временем. Как человечен девятнадцатый век, век наивной физики, по сравнению с двадцатым веком – двадцатый век убил его мать. Есть ужасное сходство в принципах фашизма с принципами современной физики.

Фашизм отказался от понятия отдельной индивидуальности, от понятия «человек» и оперирует огромными совокупностями. Современная физика говорит о больших и меньших вероятностях явлений в тех или иных совокупностях физических индивидуумов. А разве фашизм в своей ужасной механике не основывается на законе квантовой политики, политической вероятности?

Фашизм пришел к идее уничтожения целых слоев населения, национальных и расовых объединений на основе того, что вероятность скрытого и явного противодействия в этих слоях и прослойках выше, чем в других группах и слоях. Механика вероятностей и человеческих совокупностей.

Но нет, конечно! Фашизм потому и погибнет, что законы атомов и булыжников он вздумал применить к человеку!

Фашизм и человек не могут сосуществовать. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек, остаются лишь внутренне преобразенные, человекообразные существа. Но когда побеждает человек, наделенный свободой, разумом и добротой, – фашизм погибает и смирившиеся вновь становятся людьми.

Не признание ли это чепыжинских мыслей о квашне, против которых он спорил этим летом? Время разговора с Чепыжиным представлялось ему бесконечно далеким, казалось, десятилетия лежали между московским летним вечером и сегодняшним днем.

Казалось, что другой человек, не Штрум шел по Трубной площади, волнуясь, слушал, горячо, самоуверенно спорил.

Мать... Маруся... Толя...

Бывали минуты, когда наука представлялась ему обманом, мешающим увидеть безумие и жестокость жизни.

Быть может, наука не случайно стала спутницей страшного века, она союзник его. Как одиноко чувствовал он себя. Не с кем было ему делиться своими мыслями. Чепыжин был далеко. Постоеву все это странно и неинтересно.

Соколов склонен к мистике, к какой-то странной религиозной покорности перед кесаревой жестокостью, несправедливостью.

В лаборатории у него работали двое превосходных ученых – физик-экспериментатор Марков и забулдыга, умница Савостьянов. Но заговори Штрум с ними обо всем этом, они бы сочли его психопатом.

Он вынимал из стола письмо матери и вновь читал его.

«Витя, я уверена, мое письмо дойдет до тебя, хотя я за линией фронта и за колючей проволокой еврейского гетто... Где взять силы, сынок...»

И холодное лезвие вновь ударило его по горлу...

20

Людмила Николаевна вынула из почтового ящика воинское письмо.

Большими шагами она вошла в комнату и, поднеся конверт к свету, оторвала край грубой конвертной бумаги.

На миг ей представилось, что из конверта посыпятся фотографии Толи, – крошечный, когда еще голова не держалась, голый на подушке с задранными медвежьими ножками, с оттопыренными губами.

Непонятным образом, казалось, не вчитываясь в слова, а впитывая, вбирая красивым почерком неинтеллигентного грамотея написанные строки, она поняла: жив, жизнь!

Она прочитала о том, что Толя тяжело ранен в грудь и в бок, потерял много крови, слаб, сам не может писать, четыре недели температурит... Но счастливые слезы застилали ей глаза, так велико было мгновение назад отчаяние.

Она вышла на лестницу, прочла первые строки письма и, успокоенная, пошла в дровяной сарай. Там, в холодном сумраке, она прочла середину и конец письма и подумала, что письмо – предсмертное прощание с ней.

Людмила Николаевна стала укладывать дрова в мешок. И хотя доктор, у которого она лечилась в московском Гагаринском переулке в поликлинике ЦЕКУБУ, велел ей не поднимать свыше трех килограммов и делать лишь медленные, плавные движения, Людмила Николаевна, по-крестьянски закрихтев, взвалила себе на плечи мешок, полный сырых поленьев, махом поднялась на второй этаж. Она опустила мешок на пол, и посуда на столе вздрогнула, зазвенела.

Людмила надела пальто, накинула на голову платок и пошла на улицу.

Люди проходили мимо, потом оглядывались.

Она перешла улицу, трамвай резко зазвонил, и вагоновожатая погрозила ей кулаком.

Если свернуть направо, то переулком можно пройти к заводу, где работает мать.

Если Толя погибнет, то отцу его это не будет известно, – в каком лагере искать его, может быть, давно умер...

Людмила Николаевна пошла в институт к Виктору Павловичу. Проходя мимо домика Соколовых, она вошла во двор, постучала в окно, но занавеска осталась спущенной, – Марья Ивановны не было дома.

– Виктор Павлович только что прошел к себе, – сказала ей кто-то, и она поблагодарила, хотя не поняла, кто говорил с ней, – знакомый, незнакомый, мужчина, женщина, и пошла по лабораторному залу, где, как всегда, казалось, мало кто занимался делом. Обычно, так кажется, в лаборатории мужчины либо болтают, либо, покуривая, смотрят в книгу, а женщины всегда заняты: кипятят в колбах чай, смывают растворителем маникюр, вяжут.

Она замечала мелочи, десятки мелочей, бумагу, из которой лаборант сворачивал папиросу.

В кабинете Виктора Павловича ее шумно приветствовали, и Соколов быстро подошел к ней, почти подбежал, размахивая большим белым конвертом, и сказал:

– Нас обнадеживают, есть план, перспектива эвакуации в Москву, со всеми манатками и аппаратурой, с семьями. Неплохо, а? Правда, еще сроки не указаны совершенно. Но все же!

Его оживленное лицо, глаза показались ей ненавистны. Неужели и Марья Ивановна так же радостно подбежала бы к ней? Нет, нет. Марья Ивановна сразу бы все поняла, все прочла бы на ее лице.

Знай она, что увидит столько счастливых лиц, она, конечно, не пошла бы к Виктору. И Виктор обрадован, и его радость вечером придет в дом, – и Надя будет счастлива, они уедут из ненавистной Казани.

Стоят ли все люди, сколько их есть, молодой крови, которой куплена эта радость?

Она с упреком подняла глаза на мужа.

И в ее мрачные глаза посмотрели его глаза – понимающие, полные тревоги.

Когда они остались одни, он ей сказал, что сразу же, лишь она вошла, понял – случилось несчастье.

Он прочитал письмо и повторял:

– Ну что же делать, Боже мой, что же делать.

Виктор Павлович надел пальто, и они пошли к выходу.

– Я не приду уже сегодня, – сказал он Соколову, стоявшему рядом с новым, недавно назначенным начальником отдела кадров Дубенковым, круглоголовым высоким человеком в широком модном пиджаке, узком для его широких плеч.

Штрум, на мгновение выпустив руку Людмилы, вполголоса сказал Дубенкову:

– Мы хотели начать составлять списки московские, но сегодня не смогу, я потом объясню.

– К чему беспокоиться, Виктор Павлович, – баском сказал Дубенков. – Спешить пока некуда. Это планирование на будущее, я возьму на себя всю черновую работу.

Соколов махнул рукой, закивал головой, и Штрум понял, что он догадался о постигшем Штрума новом горе.

Холодный ветер носился по улицам, подымал пыль, то закручивал ее веревочкой, то вдруг швырял, рассыпал, как черную негодную крупу. Неумолимая суровость была в этой стуже, в костяном постукивании ветвей, в ледяной синеве трамвайных рельсов.

Жена повернула к нему лицо, помолодевшее от страдания, осунувшееся, озябшее, пристально, просяще всматривалась в Виктора Павловича.

Когда-то у них была молодая кошка, она в свои первые роды не могла родить котенка, умирая, она подползла к Штруму и кричала, смотрела на него широко раскрытыми светлыми глазами. Но кого же просить, кого молить в этом огромном пустом небе, на этой безжалостной пыльной земле?

– Вот госпиталь, в котором я работала, – проговорила она.

– Люда, – вдруг сказал он, – зайди в госпиталь, ведь тут тебе расшифруют полевую почту. Как это раньше не пришло в голову.

Он видел, как Людмила Николаевна поднялась по ступенькам, стала объясняться с вахтером.

Штрум заходил за угол, снова возвращался к подъезду госпиталя. Прохожие бежали мимо с сетками-авоськами, со стеклянными банками, в которых, в сером супе, плавали серые макаронины и картофелины.

– Витя, – окликнула его жена.

Он по ее голосу понял, что она овладела собой.

– Значит, так, – сказала она. – Это в Саратове. Оказывается, заместитель главного врача там был недавно. Он мне записал улицу и номер дома.

Сразу возникло множество дел, вопросов, – когда идет пароход, как достать билет, нужно собрать вещи, продукты, надо одолжить денег, надо достать какую-нибудь командировку.

Уехала Людмила Николаевна без вещей и продуктов, почти без денег, на палубу прошла, не имея билета, в общей давке и суете, поднявшейся при посадке.

Увезла она лишь память о прощании с матерью, мужем, Надей в темный осенний вечер. Зашумели у бортов черные волны, низовой ветер ударил, завыл, подхватил брызги речной воды.

21

Секретарь обкома одной из оккупированных немцами областей Украины Дементий Трифонович Гетманов был назначен комиссаром формировавшегося на Урале танкового корпуса.

Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на «Дугласе» слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья.

Товарищи, уфимские работники, заботливо относились к его семье: бытовые и жилищные условия оказались неплохими... Жена Гетманова, Галина Терентьевна, до войны отличавшаяся из-за дурного обмена веществ полнотой, не похудела, даже несколько поправилась в эвакуации. Две дочери и маленький, еще не ходивший в школу сын выглядели здоровыми.

Гетманов провел в Уфе пять дней. Перед отъездом к нему зашли проститься близкие люди: младший брат жены, зам. управделами Украинского совнаркома; старый товарищ Гетманова киевлянин Машук – работник органов безопасности; и свояк Дементия Трифоновича, ответственный работник отдела пропаганды украинского ЦК Сагайдак.

Сагайдак приехал в одиннадцатом часу, когда дети уже легли спать, и разговор шел вполголоса. Гетманов задумчиво сказал:

– А не выпить ли нам, товарищи, московской горилки по глотку?

Все в Гетманове по отдельности было большим, – седеющая вихрастая голова-башка, широкий, обширный лоб, богатый мясом нос, ладони, пальцы, плечи, толстая мощная шея. Но сам он, соединение больших и массивных частей, был небольшого роста. И странно, что в его большом лице особенно привлекали и запоминались маленькие глаза: они были узкими, едва видимые из-под набухших век. Цвет их был неясный – не определишь, чего в них больше: серого или голубого. Но заключалось в них много пронзительного, живого, мощная проникаемость.

Галина Терентьевна, легко подняв свое грузное тело, вышла из комнаты, и мужчины притихли, как это часто бывает и в деревенской избе, и в городском обществе, когда на столе должно появиться вино. Вскоре Галина Терентьевна вернулась, неся поднос. Казалось удивительным, как ее толстые руки сумели за короткие минуты пооткрывать столько консервных банок, собрать посуду.

Машук оглядел стены, завешенные украинскими плахтами, посмотрел на широкую тахту, на гостеприимные бутылки и консервные банки, сказал:

– А я помню эту тахту в вашей квартире, Галина Терентьевна, и молодец же вы, что сумели ее вывезти, определенный оргталант у вас.

– Ты учти, – сказал Гетманов, – когда эвакуировались, меня дома уже не было – все сама!

– Не бросать же ее, земляки, немцам, – сказала Галина Терентьевна. – И Дима так привык к ней, придет с бюро обкома и сразу на тахту, материалы читает.

– Как же, читает! Спит, – сказал Сагайдак.

Она снова ушла на кухню, и Машук плутовски сказал вполголоса, обращаясь к Гетманову:

– Ох, и представляю я себе докторшу, военврача, с которым наш Дементий Трифонович познакомится.

– Да, уж он даст жизни, – сказал Сагайдак.

Гетманов отмахнулся:

– Бросьте, что вы, – инвалид!

– Как же, – сказал Машук, – а кто в Кисловодске в три часа ночи в палату возвращался?

Гости захохотали, и Гетманов мельком, но пристально поглядел на брата жены.

Вошла Галина Терентьевна и, оглядев смеющихся мужчин, проговорила:

– Только жена вышла, а они уж моего бедного Диму черт знает чему учат.

Гетманов стал разливать водку в рюмки, и все стали озабоченно выбирать закуску.

Гетманов, поглядев на портрет Сталина, висевший на стене, поднял рюмку и сказал:

– Что ж, товарищи, первый тост за нашего отца, пускай он нам будет здоров.

Сказал он эти слова немного грубоватым, товарищеским голосом. В этом простецком тоне суть состояла в том, что всем было известно величие Сталина, но собравшиеся за столом люди пили за него, прежде всего любя в нем простого, скромного и чуткого человека. И Сталин на портрете, сощурившись, оглядывая стол и богатую грудь Галины Терентьевны, казалось, говорил: «Вот, ребята, я раскурю трубочку и подсяду к вам поближе».

– И верно, хай наш батько живет, – сказал брат хозяйки, Николай Терентьевич. – Что б мы все без него делали?

Он оглянулся на Сагайдака, придерживая возле рта рюмку, не скажет ли тот чего-нибудь, но Сагайдак посмотрел на портрет: «О чем же, отец, еще говорить, ты все знаешь», и выпил. Все выпили.

Дементий Трифонович Гетманов был родом из Ливен Воронежской области, но у него имелись долгие связи с украинскими товарищами, так как он много лет вел партийную работу на Украине. Его связи с Киевом были упрочены женитьбой на Галине Терентьевне, – ее многочисленные родственники занимали видные места в партийном и советском аппарате на Украине.

Жизнь Дементия Трифоновича была довольно бедна внешними событиями. Он не участвовал в гражданской войне. Его не преследовали жандармы, и царский суд его никогда не высылал в Сибирь. Доклады на конференциях и съездах он обычно читал по рукописи. Читал он хорошо, – без запинок, с выражением, хотя писал доклады не сам. Правда, читать их было легко, их печатали крупным шрифтом, через два интервала, и имя Сталина выделено на них было особым красным шрифтом. Он был когда-то толковым, дисциплинированным паренком, хотел учиться в механическом институте, но его мобилизовали на работу в органы безопасности, и вскоре он стал личным охранником секретаря крайкома. Потом его отметили и послали на партийную учебу, а затем он был взят на работу в партийный аппарат – сперва в организационно-инструкторский отдел крайкома, потом в управление кадров Центрального Комитета. Через год он стал инструктором отдела руководящих кадров. А вскоре после тридцать седьмого года он сделался секретарем обкома партии, как говорили, – хозяином области.

Слово его могло решить судьбу заведующего университетской кафедрой, инженера, директора банка, председателя профессионального союза, крестьянского коллективного хозяйства, театральной постановки.

Доверие партии! Гетманов знал великое значение этих слов. Партия доверяла ему! Весь его жизненный труд, где не было ни великих книг, ни знаменитых открытий, ни выигранных сражений, был трудом огромным, упорным, целеустремленным, особым, всегда напряженным, бессонным. Главный и высший смысл этого труда состоял в том, что возникал он по требованию партии и во имя интересов партии. Главная и высшая награда за этот труд состояла лишь в одном – в доверии партии.

Духом партийности, интересами партии должны были проникаться его решения в любых обстоятельствах, – шла ли речь о судьбе ребенка, которого определяют в детдом, о реорганизации кафедры биологии в университете, о выселении из помещения, принадлежащего библиотеке, артели, производящей пластмассовые изделия. Духом партийности должно быть проникнуто отношение руководителя к делу, к книге, к картине, и поэтому, как ни трудно это, он должен не колеблясь отказаться от привычного дела, от любимой книги, если интересы партии приходят в противоречие с его личными симпатиями. Но Гетманов знал: существовала более высокая степень партийности; ее суть была в том, что человек вообще не имеет ни склонностей, ни симпатий, могущих вступать в противоречие с духом партийности, – все близкое и

дорогое для партийного руководителя потому и близко ему, потому только и дорого ему, что оно выражает дух партийности.

Подчас жестоки, суровы бывали жертвы, которые приносил Гетманов во имя духа партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как «отвернулся», «не поддержал», «погубил», «предал»... Но дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-то и не нужна – не нужна потому, что личные чувства – любовь, дружба, землячество – естественно, не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности.

Незаметен труд людей, обладающих доверием партии. Но огромен этот труд, – нужно и ум и душу тратить щедро, без остатка. Сила партийного руководителя не требовала таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали сотни людей, обладавших даром исследования, пения, писания книг, хотя Гетманов не только не умел петь, играть на рояле, создавать театральные постановки, но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи... Сила его решающего слова заключалась в том, что партия доверила ему свои интересы в области культуры и искусства.

Таким количеством власти, каким обладал он, секретарь областной партийной организации, вряд ли мог обладать народный трибун, мыслитель.

Гетманову казалось, что самая глубокая суть понятия «доверие партии» выражалась в мнении, чувстве, отношении Сталина. В его доверии к своим соратникам, наркомам, маршалам и была суть партийной линии.

Гости говорили главным образом о новой военной работе, предстоящей Гетманову. Они понимали, что Гетманов мог рассчитывать на большее назначение, люди с его партийным положением обычно, переходя на военную работу, становились членами Военных советов армий, а иногда даже и фронтов.

Гетманов, получив назначение на корпус, встревожился и огорчился, узнавал через одного из своих друзей, члена Оргбюро ЦК, нет ли против него наверху недовольства. Но, казалось, ничего тревожного не имелось.

Тогда Гетманов, утешая себя, стал находить хорошие стороны в своем назначении, – ведь танковым войскам предстоит решить судьбу войны, им предстоит выступить на решающих направлениях. В танковый корпус пошлют не каждого, скорей пошлют членом Военного совета в захудалую армию на второстепенный участок, чем в танковый корпус. Этим партия выразила ему доверие. Но все же он был огорчен, – очень ему нравилось, надев форму и глядя в зеркало, произносить: «Член Военного совета армии, бригадный комиссар Гетманов».

Почему-то наибольшее раздражение вызывал в нем командир корпуса полковник Новиков. Он еще ни разу не видел полковника, но все, что Гетманов знал и узнавал о нем, не нравилось ему.

Друзья, сидевшие с ним за столом, понимали его настроение, и все, что говорили они о его новом назначении, было приятно ему.

Сагайдак сказал, что корпус вероятнее всего пошлют под Сталинград, что командующего Сталинградским фронтом генерала Еременко товарищ Сталин знает со времен гражданской войны, еще по Первой конной армии, и часто говорит с ним по телефону ВЧ, а когда тот бывает в Москве, товарищ Сталин принимает его... Недавно командующий был на даче у товарища Сталина под Москвой, и беседа товарища Сталина с ним длилась два часа. Хорошо воевать под командованием человека, к которому с таким доверием относится товарищ Сталин.

Потом говорили, что Никита Сергеевич помнит Гетманова по работе на Украине и что большой удачей для Гетманова будет попасть на тот фронт, где Никита Сергеевич член Военного совета.

– Не случайно, – сказал Николай Терентьевич, – в Сталинград товарищ Сталин послал Никиту Сергеевича: фронт решающий, кого же послать?

Галина Терентьевна задорно сказала:

– А моего Дементия Трифоновича случайно, что ли, товарищ Сталин посылает в танковый корпус?

– Да уж, – сказал прямодушно Гетманов, – мне попасть на корпус – это вроде из первых секретарей обкома дораста до секретаря райкома. Радость небольшая.

– Нет, нет, – серьезно сказал Сагайдак. – В этом назначении выражено доверие партии. Райком, да не простой, не сельский, а Магнитогорский, Днепродзержинский. Корпус, да не простой – танковый!

Машук сказал, что командира корпуса, куда комиссаром едет Гетманов, недавно назначили, он раньше не командовал соединениями. Об этом сказал ему работник фронтового особого отдела, приезжавший недавно в Уфу.

– Он мне еще вот что говорил, – сказал Машук и, сам себя перебивая, добавил: – Да что вам рассказывать, Дементий Трифонович, вы-то о нем, наверное, больше знаете, чем он сам о себе знает.

Гетманов узко сощурил и без того узкие, пронзительные, умные глаза, пошевелил мясистыми ноздрями и сказал:

– Ну уж больше.

Машук едва заметно усмехнулся, и все сидевшие за столом заметили его усмешку. Странное, удивительное дело, – хоть приходился он шуриком и свояком семье Гетмановых и хоть был Машук при семейных встречах скромным, милым, любящим шутку человеком, а все же чувствовали Гетмановы какое-то напряжение, слушая его мягкий, вкрадчивый голос, глядя на темные, спокойные глаза и бледное, длинное лицо. И сам Гетманов, чувствуя это, не удивлялся, он понимал силу, стоящую за Машуком, знавшим что-то такое, чего и Гетманов подчас не знал.

– И что за человек? – спросил Сагайдак.

Гетманов снисходительно ответил:

– Да вот такой, выдвиженец военного времени, до войны ничем особым он не отличался.

– В номенклатуре не был? – сказал, улыбаясь, брат хозяйки.

– Ну, номенклатура, – Гетманов помахал рукой. – Но человек полезный, танкист, говорят, хороший. Начальником штаба корпуса – генерал Неудобнов. Я с ним на восемнадцатом съезде партии познакомился. Мужик толковый.

Машук сказал:

– Неудобнов, Илларион Иннокентьевич? Еще бы. Я у него работать начинал, потом судьба развела. Перед войной я с ним у Лаврентия Павловича в приемной встретился.

– Ну, развела, – улыбаясь, сказал Сагайдак. – Ты подходи диалектически, ищи тождество и единство, а не противоположность.

Машук сказал:

– По-чудачному все во время войны, – полковник какой-то в комкоры, а Неудобнов к нему в подчинение идет!

– Военного опыта нет. Приходится считаться, – сказал Гетманов.

А Машук все удивлялся:

– Шутка, Неудобнов, да от одного его слова что зависело! Член партии с дореволюционным стажем, огромный опыт военной и государственной работы! Одно время думали, что он членом коллегии будет.

Остальные гости поддержали его.

Их сочувствие Гетманову сейчас было удобно выразить в соболезнованиях Неудобнову.

– Да, напутала война, скорей бы кончалась, – сказал брат хозяйки.

Гетманов поднял руку с растопыренными пальцами в сторону Сагайдака и сказал:

– Вы знали Крымова, московский, делал в Киеве доклад о международном положении на лекторской группе ЦК?

– Перед войной приезжал? Загибщика этого? В Коминтерне когда-то работал?

– Точно, он. Вот этот мой комкор собрался жениться на его бывшей жене.

Новость почему-то всех насмешила, хотя никто не знал бывшей жены Крымова, ни комкора, который собирался на ней жениться.

Машук сказал:

– Да, шурик недаром первую закалку получил у нас в органах. И уж про женитьбу знает.

– Хватка есть, скажем прямо, – проговорил Николай Терентьевич.

– А как же... Верховное Главнокомандование ротозеев не жалуется.

– Да, уж наш Гетманов не ротозей, – проговорил Сагайдак.

Машук сказал серьезно и буднично, словно перенесся в свой служебный кабинет:

– Крымова этого, еще когда он приезжал в Киев, помню, неясный. Понатыкано у него связей и с правыми и с троцкистами с самых давних времен. А разобраться, то, верно...

Он говорил просто и откровенно, казалось, так же просто, как мог говорить о своей работе директор трикотажной фабрики или преподаватель техникума. Но все понимали, что простота и свобода, с которой он говорил, были лишь кажущиеся, – он, как никто, знал, о чем можно, а о чем нельзя говорить. А Гетманов, сам любивший ошеломить собеседника смелостью, простотой и искренностью, хорошо знал о сокровенной глубине, молчавшей под поверхностью живого, непосредственного разговора.

Сагайдак, который бывал обычно занятый, озабоченней и серьезней других гостей, не хотел расставаться с легким настроением и весело объяснил Гетманову:

– Его и кинула жена как недостаточно проверенного.

– Хорошо бы, если потому, – сказал Гетманов. – Но мне подобится, что этот мой комкор женится на совершенно чуждом человеке.

– Ну и пусть, мне бы твои заботы, – сказала Галина Терентьевна. – Главное, чтобы любили друг друга.

– Любовь, конечно, основное – это все знают и помнят, – сказал Гетманов, – но, кроме того, есть вещи, которые некоторые советские люди забывают.

– Вот это верно, – сказал Машук, – а забывать нам ничего не положено.

– А потом удивляются, почему ЦК не утвердил, почему то, почему не это. А сами не дорожат доверием.

Вдруг Галина Терентьевна удивленно нараспев произнесла:

– Странно даже слушать ваш разговор, и как будто войны нет, а только и заботы, – на ком этот комкор женится и кто бывший муж у его будущей жены. Ты с кем это, Дима, собрался воевать?

Она насмешливо посмотрела на мужчин, и красивые карие глаза ее казались чем-то похожи на узенькие глаза мужа, – должно быть, проницательностью и походили.

Грустным голосом Сагайдак проговорил:

– Да где там, про войну забыть... Отовсюду наши братья и сыны на войну идут – от последней колхозной хаты до Кремля. Война – и великая, и отечественная.

– У товарища Сталина – Василий, сын, летчик-истребитель, потом у товарища Микояна сын воюет в авиации, у Лаврентия Павловича, я слышал, сын тоже на фронте, только не знаю, какой род войск. Потом Тимур Фрунзе лейтенант, кажется, в пехоте... Потом у этой, у Долорес Ибаррури, сын под Сталинградом погиб.

– У товарища Сталина два сына на фронте, – сказал брат хозяйки. – Второй, Яков, артиллерийской батареей командовал. Вернее, он первый, Васька – младший, Яков – старший. Несчастный парень, – в плен попал.

Он примолк, почувствовав, что коснулся предмета, о котором, по мнению старших товарищей, говорить не следует.

Желая смять молчание, Николай Терентьевич сказал прямодушно и беспечно:

– Между прочим, немцы кидают до конца лживые листовки, будто Яков Сталин дает им охотно показания.

Но пустота вокруг него стала еще неприятней. Он заговорил о том, о чем не следовало упоминать ни в шутку, ни всерьез, о чем полагалось молчать. Вздумай кто-либо возмутиться слухами об отношениях Иосифа Виссарионовича с женой, этот искренний опровергатель слухов совершил бы не меньшую оплошность, чем распространитель слухов, – самый разговор был недопустим.

Гетманов, вдруг повернувшись к жене, сказал:

– Сердце мое, там, где дело взял в свои руки товарищ Сталин, да еще так крепко взял, там уж пусть немцы волнуются.

А Николай Терентьевич ловил взгляд Гетманова своим виноватым взглядом.

Но, конечно, не вздорные люди сидели за столом, не для того они встретились, чтобы из произошедшей неловкости создавать серьезную историю – дело.

Сагайдак проговорил с добродушной и товарищеской интонацией, поддерживая перед Гетмановым Николая Терентьевича:

– Вот это правильно, а мы давайте будем волноваться, чтобы глупостей не натворить на своем участке.

– И чтобы не болтать лишнего, – добавил Гетманов.

В том, что он почти прямо сказал свой упрек, а не промолчал, было выражено прощение Николаю Терентьевичу, и Сагайдак и Машук одобрительно кивнули.

Николай Терентьевич знал, что этот пустой, оплошный случай забудется, но знал, что забудется он не до конца. Когда-нибудь вдруг зайдет разговор о кадрах, о выдвижении, об особо ответственном поручении, и при имени Николая Терентьевича и Гетманов, и Сагайдак, и Машук закивают, но при этом чуть-чуть улыбнутся и на вопрос дотошного собеседника скажут: «Чуток, может быть, легкомыслен», – и покажут чуток на кончике мизинца.

В глубине души все понимали, что не так уж врут немцы насчет Якова. Но именно поэтому не следовало касаться этой темы.

Особенно хорошо разбирался в таких делах Сагайдак. Он долгое время работал в газете, сперва заведовал отделом информации, потом сельскохозяйственным отделом, затем около двух лет был редактором республиканской газеты. Он считал, что главная цель его газеты воспитывать читателя, а не давать без разбору хаотическую информацию о самых различных, часто случайных, событиях. Если редактор Сагайдак считал целесообразным пройти мимо какого-либо события, замолчать жестокий недород, идейно не выдержанную поэму, формалистическую картину, падеж скота, землетрясение, гибель линкора, не видеть силы океанской волны, внезапно смывшей с земли тысячи людей, либо огромного пожара на шахте, – события эти не имели для него значения, казалось ему, не должны были занимать умы читателей, журналистов и писателей. Иногда ему надо было по-особому объяснить то или иное событие в жизни, – случалось, что объяснение это бывало поразительно смелым, необычным, противоречило житейским представлениям. Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение выражались в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служащие воспитательной цели взгляды.

Когда во время проведения сплошной коллективизации возникли грубые перегибы, Сагайдак до появления статьи Сталина «Головокружение от успехов» писал, что голод в период сплошной коллективизации произошел оттого, что кулаки назло закапывали зерно, назло не ели хлеба и от этого опухали, назло государству умирали целыми деревнями, с малыми ребятами, стариками и старухами.

И тут же он помещал материалы о том, что в колхозных яслях детей ежедневно кормят куриным бульоном, пирожками и рисовыми котлетами. А дети сохли и опухали.

Началась война, одна из самых жестоких и страшных войн, выпавших России за 1000 лет ее жизни. И вот на протяжении особо жестоких испытаний первых недель, месяцев войны ее истребительный огонь поставил на первое место реальное, истинное, роковое течение событий, война определяла все судьбы, даже судьбу партии. Эта роковая пора миновала. И тотчас драматург Корнейчук объяснил в своей пьесе «Фронт», что неудачи войны были связаны с глупыми генералами, не умевшими выполнять указания Высшего, никогда не ошибавшегося командования.

В этот вечер не одному Николаю Терентьевичу суждено было пережить неприятные минуты. Машук, перелистывая большой альбом в кожаном переплете, на толстые картонные страницы которого были наклеены фотографии, вдруг так выразительно поднял брови, что все невольно потянулись к альбому. На фотографии был заснят Гетманов в своем довоенном обкомовском кабинете, – он сидел за просторным, как степь, письменным столом, в гимнастерке полувоенного образца, а над ним висел портрет Сталина, такой огромный, какой может быть только в кабинете секретаря обкома. Лицо Сталина на портрете было размалевано цветными карандашами, к подбородку была пририсована синяя эспаньолка, на ушах висели голубые серьги.

– Ну что за мальчишка! – воскликнул Гетманов и даже по-бабьи как-то всплеснул руками.

Галина Терентьевна расстроилась, повторяла, оглядывая гостей:

– И ведь, знаете, еще вчера перед сном говорил: «Я дядю Сталина люблю, как папу».

– То ж детская шалость, – сказал Сагайдак.

– Нет, это не шалость, это злостное хулиганство, – вздохнул Гетманов.

Он посмотрел на Машука пытливыми глазами. И оба они в эту минуту вспомнили один и тот же довоенный случай, – племянник их земляка, студент-политехник, в общежитии стрелял из духового ружья по портрету Сталина.

Они знали, что болван студент дурил, не имел никаких политических, террористических целей. Земляк, славный человек, директор МТС, просил Гетманова выручить племянника.

Гетманов после заседания бюро обкома заговорил с Машуком об этом деле.

Машук сказал:

– Дементий Трифонович, ведь мы не дети – виноват, не виноват, какое это имеет значение... А вот если я прекращу это дело, завтра в Москву, может быть, самому Лаврентию Павловичу сообщат: либерально Машук отнесся к тому, что стреляют по портрету великого Сталина. Сегодня я в этом кабинете, а завтра – я лагерная пыль. Хотите на себя взять ответственность? И о вас скажут: сегодня по портрету, а завтра не по портрету, а Гетманову чем-то этот парень симпатичен или поступок этот ему нравится? А? Возьмете на себя?

Через месяц или два Гетманов спросил у Машука:

– Ну как там тот стрелок?

Машук, глядя на него спокойными глазами, ответил:

– Не стоит о нем спрашивать, оказалось, мерзавец, кулацкий выbleддок, – признался на следствии.

И сейчас Гетманов, пыливо глядя на Машука, повторил:

– Нет, не шалость это.

– Да ну уж, – проговорил Машук, – парню пятый год, возраст все же учитывать надо.

Сагайдак с такой душевностью, что все ощутили теплоту его слов, сказал:

– Прямо вам скажу, у меня не хватает силы быть принципиальным к детям... Надо бы, но не хватает духу. Я смотрю: были бы здоровы...

Все сочувственно посмотрели на Сагайдака. Он был несчастным отцом. Старший сын его, Виталий, еще учась в девятом классе, вел нехорошую жизнь, – однажды его задержала

милиция за участие в ресторанном дебоше, и отцу пришлось звонить заместителю наркома внутренних дел, тушить скандальную историю, в которой участвовали сыновья видных людей – генералов, академиков, дочь писателя, дочь наркома земледелия. Во время войны молодой Сагайдак захотел пойти в армию добровольцем, и отец устроил его в двухлетнее артиллерийское училище. Виталия оттуда исключили за недисциплинированность и пригрозили отправить с маршевой ротой на фронт.

Теперь молодой Сагайдак уже месяц учился в минометном училище, и никаких происшествий с ним не случалось – отец и мать радовались и надеялись, но в душе у них жила тревога.

Второй сын Сагайдака, Игорь, в двухлетнем возрасте болел детским параличом, и последствия этой болезни превратили его в калеку – он передвигался на костылях, сухие тонкие ножки его были бессильны. Игорек не мог учиться в школе, учителя приходили к нему на дом, – учился он охотно и старательно.

Не было светила-невропатолога не только на Украине, но и в Москве, Ленинграде, Томске, с которым бы не советовались Сагайдаки об Игорьке. Не было нового заграничного лекарства, которого не добыл бы Сагайдак через торгпредства либо посольства. Он знал: за чрезмерность родительской любви его можно и должно упрекать. Но он одновременно знал, что грех его не смертный грех. Ведь и он, сталкиваясь с сильным отцовским чувством у некоторых областных работников, учитывал, что люди нового типа особо глубоко любят своих детей. Он знал – и ему простится знахарка, доставленная из Одессы на самолете к Игорьку, и травка, прибывшая в Киев фельдьегерским пакетом от какого-то священного дальневосточного деда.

– Наши вожди особые люди, – проговорил Сагайдак, – я не говорю о товарище Сталине, тут уж вообще не о чем говорить, но и ближайшие помощники его... Они умеют и в этом вопросе всегда ставить партию выше отцовского чувства.

– Да, они понимают: не с каждого спросишь такое, – сказал Гетманов и намекнул о суровости, которую проявил один из секретарей ЦК к своему проштрафившемуся сыну.

Разговор о детях пошел по-новому, задушевно и просто.

Казалось, вся внутренняя сила этих людей, вся их способность радоваться связаны лишь с тем, румяны ли их Танечки и Виталики, хорошие ли отметки приносят из школы, благополучно ли переходят с курса на курс их Владимиры и Людмилы.

Галина Терентьевна заговорила о своих дочерях:

– Светланка до четырех лет была плохого здоровья, – колиты, колиты, извелась девочка. А вылечили ее только одним – тертыми сырыми яблоками.

Гетманов проговорил:

– Сегодня перед школой она мне сказала: «Нас с Зоей в классе называют – генеральские дочки». А Зоя, нахалка, смеется: «Подумаешь, большая честь – генеральская дочь! У нас в классе маршальская дочь – это действительно!»

– Видите, – весело сказал Сагайдак, – на них не угодишь. Игорь днями мне заявил: «Третий секретарь – подумаешь, не велика птица».

Микола тоже мог рассказать о своих детях много смешного и веселого, но он знал, что ему не положено рассказывать о сметливости своих ребят, когда говорят о сметливости сагайдаковского Игоря и гетмановских дочерей.

Машук задумчиво сказал:

– У наших батьков в деревне с детьми просто было.

– А все равно любили детей, – сказал брат хозяйки.

– Любили, конечно, любили, но и драли, меня по крайней мере.

Гетманов проговорил:

– Вспомнил я, как покойный отец в пятнадцатом году на войну шел. Не шутите, он у меня до унтер-офицера дослужился, два Георгия имел. Мать собирала его: положила в мешок

портянки, фуфайку, яичек крутых положила, хлеба, а мы с сестрой лежим на нарах и смотрим, как он на рассвете сидит в последний раз за столом. Наносил в кадуюшку, что в сенях стояла, воды, дров нарубил. Мать все вспоминала потом.

Он посмотрел на часы и сказал:

– Ого...

– Значит, завтра, – сказал Сагайдак и поднялся.

– В семь часов самолет.

– С гражданского? – спросил Машук.

Гетманов кивнул.

– Это лучше, – сказал Николай Терентьевич и тоже поднялся, – а то до военного пятнадцать километров.

– Какое это может иметь значение для солдата, – сказал Гетманов.

Они стали прощаться, снова зашумели, засмеялись, обнялись, а уж в коридоре, когда гости стояли в пальто и шапках, Гетманов проговорил:

– Ко всему солдат может привыкнуть, солдат дымом греется, солдат шилом бреется. Но вот жить в разлуке с детьми, к этому солдат привыкнуть не может.

И по голосу его, по выражению лица, по тому, как смотрели на него уходившие, видно было, что тут уж не шутят.

22

Ночью Дементий Трифонович, одетый в военную форму, писал, сидя за столом. Жена в халате сидела подле него, следила за его рукой. Он сложил письмо и сказал:

– Это заведующему крайздравом, если понадобится тебе спецлечение и выезд на консультацию. Пропуск брат тебе устроит, а он только даст направление.

– А доверенность на получение лимита ты написал? – спросила жена.

– Это не нужно, – ответил он, – позвони управляющему делами в обком, а еще лучше прямо самому Пузиченко, он сделает.

Он перебрал пачку написанных писем, доверенностей, записок и сказал:

– Ну, как будто все.

Они помолчали.

– Боюсь я за тебя, мой коханий, – сказала она. – Ведь на войну идешь.

Он встал, проговорил:

– Береги себя, детей береги. Коньяк в чемодан положила?

Она сказала:

– Положила, положила. Помнишь, года два назад ты так же на рассвете дописывал мне доверенности, улетал в Кисловодск?

– Теперь в Кисловодске немцы, – сказал он.

Гетманов прошелся по комнате, прислушался:

– Спят?

– Конечно, спят, – сказала Галина Терентьевна.

Они прошли в комнату к детям. Странно было, как эти две полные, массивные фигуры бесшумно движутся в полутьме. На белом полотне подушек темнели головы спящих детей... Гетманов вслушивался в их дыхание.

Он прижал ладонь к груди, чтобы не потревожить спящих гулками ударами сердца. Здесь, в полумраке, он ощущал щемящее и пронзительное чувство нежности, тревоги, жалости к детям. Страстно хотелось обнять сына, дочерей, поцеловать их заспанные лица. Здесь ощущал он беспомощную нежность, нерассуждающую любовь, и здесь он терялся, стоял смущенный, слабый.

Его не пугали и не волновали мысли о предстоящей новой для него работе. Ему часто приходилось браться за новую работу, он легко находил ту правильную линию, которая и была главной линией. Он знал – и в танковом корпусе он сумеет осуществить эту линию.

Но здесь, – как связать железную суровость, непоколебимость с нежностью, с любовью, не знающей ни закона, ни линии.

Он оглянулся на жену. Она стояла, по-деревенски подперев щеку ладонью. В полумраке лицо ее казалось похудевшим, молодым, такой была она, когда они в первый раз после женитьбы поехали к морю, жили в санатории «Украина» над самым береговым обрывом.

Под окном деликатно прогудел автомобиль – это пришла обкомовская машина. Гетманов снова повернулся к детям и развел руками, в этом жесте выражалась его беспомощность перед чувством, с которым не мог он совладать.

В коридоре он после прощальных слов и поцелуев надел полушубок, папаху, стоял, выжидая, пока водитель машины вынесет чемоданы.

– Ну вот, – сказал он и вдруг снял с головы папаху, шагнул к жене, снова обнял ее. И в этом новом, последнем прощании, когда сквозь полуоткрытую дверь, смешиваясь с домашним теплом, входил сырой и холодный уличный воздух, когда шершавая, дубленая шкура полушубка прикоснулась к душистому шелку халата, оба они ощутили, что их жизнь, казавшаяся единой, вдруг раскололась, и тоска ожгла их сердца.

23

Евгения Николаевна Шапошникова поселилась в Куйбышеве у старушки-немки Женни Генриховны Генрихсон, в давние времена служившей воспитательницей в доме Шапошниковых.

Станным казалось Евгении Николаевне после Сталинграда очутиться в тихой комнатке рядом со старухой, все удивлявшейся, что маленькая девочка с двумя косами стала взрослой женщиной.

Жила Женни Генриховна в полутемной комнатке, когда-то отведенной для прислуги в большой купеческой квартире. Теперь в каждой комнате жила семья, и каждая комната делилась с помощью ширмочек, занавесок, ковров, диванных спинок на уголки и закуты, где спали, обедали, принимали гостей, где медицинская сестра делала уколы парализованному старику.

Кухня по вечерам гудела голосами жильцов.

Евгении Николаевне нравилась эта кухня с прокопченными сводами, красно-черный огонь керосинок.

Среди белья, сохнувшего на веревках, шумели жилыцы в халатах, ватниках, гимнастерках, сверкали ножи. Клубили пар стиральщицы, склоняясь над корытами и тазами. Просторная плита никогда не топилась, ее обложенные кафелем бока холодно белели, как снежные склоны потухшего в прошлую геологическую эпоху вулкана.

В квартире жила семья ушедшего на фронт рабочего-грузчика, врач-гинеколог, инженер с номерного завода, мать-одиночка – кассир из распределителя, вдова убитого на фронте парикмахера, комендант почтамта, а в самой большой комнате, бывшей гостиной, жил директор поликлиники.

Квартира была обширна, как город, и в ней даже имелся свой квартирный сумасшедший – тихий старичок с глазами милого доброго щенка.

Жили люди тесно, но разобщенно, не очень дружно, обижаясь, мирясь, утаивая друг от друга свою жизнь и тут же шумно и щедро делясь с соседями всеми обстоятельствами своей жизни.

Евгении Николаевне хотелось нарисовать не предметы, не жильцов, а чувство, которое вызывали они в ней.

Это чувство было сложно и многотрудно, казалось, и великий художник не смог бы выразить его. Оно возникало от соединения могущественной военной силы народа и государства с этой темной кухней, нищетой, сплетнями, мелочностью, соединения разящей военной стали с кухонными кастрюлями, картофельной шелухой.

Выражение этого чувства ломало линию, искажало очертания, выливалось в какую-то внешне бессмысленную связь расколотых образов и световых пятен.

Старушка Генрихсон была существом робким, кротким и услужливым. Она носила черное платье с белым воротничком, ее щеки были постоянно румяны, хотя она всегда ходила полуголодная.

В ее голове жили воспоминания о выходках первоклассницы Людмилы, о смешных словах, которые говорила маленькая Маруся, о том, как двухлетний Митя входил в столовую в передничке и, всплескивая руками, кричал: «Бабедать, бабедать!»

Ныне Женни Генриховна служила в семье женщины – зубного врача – приходящей домработницей, ухаживала за больной матерью хозяйки. Хозяйка ее выезжала на пять-шесть дней в район по путевкам горздрава, и тогда Женни Генриховна ночевала в ее доме, чтобы помогать беспомощной старухе, едва передвигавшей ноги после недавнего инсульта.

В ней совершенно отсутствовало чувство собственности, она все время извинялась перед Евгенией Николаевной, просила у нее разрешения открыть форточку в связи с эволюциями

ее старого трехцветного кота. Главные ее интересы и волнения были связаны с котом, как бы не обидели его соседи.

Сосед по квартире, инженер Драгин, начальник цеха, со злой насмешкой смотрел на ее морщинистое лицо, на девственно стройный, иссушенный стан, на ее пенсне, висевшее на черном шнурочке. Его плебейская натура возмущалась тем, что старуха осталась предана воспоминаниям прошлого и с идиотски блаженной улыбкой рассказывала, как она возила своих дореволюционных воспитанников гулять в карете, как сопровождала «мадам» в Венецию, Париж и Вену. Многие из «крошек», взлелеянных ею, стали деникинцами, врангелевцами, были убиты красными ребятами, но старушку интересовали лишь воспоминания о скарлатине, дифтерии, колитах, которыми страдали малыши.

Евгения Николаевна говорила Драгину:

– Более незлобивого, безответного человека я не встречала. Поверьте, она добрей всех, кто живет в этой квартире.

Драгин, пристально, по-мужски откровенно и нахально вглядываясь в глаза Евгении Николаевны, отвечал:

– Пой, ласточка, пой. Продались вы, товарищ Шапошникова, немцам за жилплощадь.

Женни Генриховна, видимо, не любила здоровых детей. О своем самом хилом воспитаннике, сыне еврея-фабриканта, она особенно часто рассказывала Евгении Николаевне, хранила его рисунки, тетрадки и начинала плакать каждый раз, когда рассказ доходил до того места, где описывалась смерть этого тихого ребенка.

У Шапошниковых она жила много лет назад, но помнила все детские имена и прозвища и заплакала, узнав о смерти Маруси; она все писала каракулями письмо Александре Владимировне в Казань, но никак не могла его закончить.

Щучью икру она называла «кавиар» и рассказывала Жене, как ее дореволюционные воспитанники получали на завтрак чашку крепкого бульона и ломтик оленины.

Свой паек она скармливала коту, которого звала «Мое дорогое, серебряное дитя». Кот в ней души не чаял и, будучи грубой, угрюмой скотиной, завидя старуху, внутренне преображался, становился ласков, весел.

Драгин все спрашивал ее, как она относится к Гитлеру: «Что, небось рады?», но хитрая старушка объявила себя антифашисткой и звала фюрера людоедом.

Ко всему была она совершенно никчемна, – не умела стирать, варить, а когда шла в магазин, то обязательно при покупке спичек продавец впопыхах срезал с ее карточки месячное довольствие сахара или мяса.

Современные дети совсем не походили на ее воспитанников того времени, которое она называла «мирным». Все изменилось, даже игры – девочки «мирного» времени играли в серсо, лакированными палочками со шнурком бросали резиновое диаволо, играли вялым раскрашенным мячом, который носили в белой сеточке – авоське. А нынешние играли в волейбол, плавали саженками, а зимой в лыжных штанах играли в хоккей, кричали и свистели.

Они знали больше Женни Генриховны историй об алиментах, абортах, мошеннически приобретенных и прикрепленных рабочих карточках, о старших лейтенантах и подполковниках, привозивших с фронта жиры и консервы чужим женам.

Евгения Николаевна любила, когда старая немка вспоминала об ее детских годах, ее отце, о брате Дмитрие, которого Женни Генриховна особенно хорошо помнила, – он при ней болел коклюшем и дифтеритом.

Однажды Женни Генриховна сказала:

– Мне вспоминаются мои последние хозяева в семнадцатом году. Месяе был товарищем министра финансов – он ходил по столовой и говорил: «Все погибло, имения жгут, фабрики остановились, валюта рухнула, сейфы ограблены». И вот, как теперь у вас, вся семья распалась.

Месье, мадам и мадемуазель уехали в Швецию, мой воспитанник пошел добровольцем к генералу Корнилову, а мадам плакала: «Целые дни мы прощаемся, пришел конец».

Евгения Николаевна печально улыбнулась и ничего не ответила.

Однажды вечером явился участковый и вручил Женни Генриховне повестку. Старая немка надела шляпку с белым цветком, попросила Женечку покормить кота, – она отправилась в милицию, а оттуда на работу к мамаше зубного врача, обещала вернуться через день. Когда Евгения Николаевна пришла с работы, она застала в комнате разор, соседи ей сказали, что Женни Генриховну забрала милиция.

Евгения Николаевна пошла узнавать о ней. В милиции ей сказали, что старуха уезжает с эшелонам немцев на север.

Через день пришли участковый и управдом, забрали опечатанную корзину, полную старого тряпья, пожелтевших фотографий и пожелтевших писем.

Женя пошла в НКВД, чтобы узнать, как передать старушке теплый платок. Человек в окошке спросил Женю:

– А вы кто, немка?

– Нет, я русская.

– Идите домой. Не беспокойте людей справками.

– Я ведь о зимних вещах.

– Вам ясно? – спросил человек в окошечке таким тихим голосом, что Евгения Николаевна испугалась.

В этот же вечер она слышала разговор жильцов на кухне, – они говорили о ней.

Один голос сказал:

– Все же некрасиво она поступила.

Второй голос ответил:

– А по-моему, умница. Сперва одну ногу поставила, потом сообщила о старухе куда надо, выперла ее и теперь хозяйка комнаты.

Мужской голос сказал:

– Какая комната: комнатуха.

Четвертый голос сказал:

– Да, такая не пропадет, и с такой не пропадешь.

Печальной оказалась судьба кота. Он сидел сонный, подавленный на кухне в то время, как люди спорили, куда его девать.

– К черту этого немца, – говорили женщины.

Драгин неожиданно объявил, что готов участвовать в кормежке кота. Но кот недолго прожил без Женни Генриховны – одна из соседок то ли случайно, то ли с досады ошпарила его кипятком, и он умер.

24

Евгении Николаевне нравилась ее одинокая жизнь в Куйбышеве.

Никогда, пожалуй, она не была так свободна, как сейчас. Ощущение легкости и свободы возникло у нее, несмотря на тяжесть жизни. Долгое время, пока не удалось ей прописаться, она не получала карточек и ела один раз в день в столовой по обеденным талонам. С утра она думала о часе, когда войдет в столовку и ей дадут тарелку супа.

Она в эту пору мало думала о Новикове. О Крымове она думала чаще и больше, почти постоянно, но внутренняя, сердечная светосила этих мыслей была невелика.

Память о Новикове вспыхивала и исчезала, не томила.

Но однажды на улице она издала увидела высокого военного в длинной шинели, и ей на мгновение показалось, что это Новиков. Ей стало трудно дышать, ноги ослабели, она потерялась от счастливого чувства, охватившего ее. Через минуту она поняла, что обозналась, и сразу же забыла свое волнение.

А ночью она внезапно проснулась и подумала:

«Почему он не пишет, ведь он знает адрес?»

Она жила одна, возле не было ни Крымова, ни Новикова, ни родных. И ей казалось, что в этом свободном одиночестве и есть счастье. Но ей это только казалось.

В Куйбышеве в это время находились многие московские наркоматы, учреждения, редакции московских газет. Это была временная, эвакуированная из Москвы столица, с дипломатическим корпусом, с балетом Большого театра, со знаменитыми писателями, с московскими конференсье, с иностранными журналистами.

Все эти тысячи московских людей ютились в комнатухах, в номерах гостиниц, в общежитиях и занимались обычными для себя делами – заведующие отделами, начальники управлений и главных управлений, наркомы руководили подведомственными им людьми и народным хозяйством, чрезвычайные и полномочные послы ездили на роскошных машинах на приемы к руководителям советской внешней политики; Уланова, Лемешев, Михайлов радовали зрителей балета и оперы; господин Шапиро – представитель агентства «Юнайтед Пресс», задавал на пресс-конференциях каверзные вопросы начальнику Совинформбюро Соломону Абрамовичу Лозовскому; писатели писали заметки для отечественных и зарубежных газет и радио; журналисты писали на военные темы по материалам, собранным в госпиталях.

Но быт московских людей стал здесь совершенно иным – леди Крипс, жена чрезвычайного и полномочного посла Великобритании, уходя после ужина, который она получала по талону в гостиничном ресторане, заворачивала недоеденный хлеб и кусочки сахара в газетную бумагу, уносила с собой в номер; представители мировых газетных агентств ходили на базар, толкаясь среди раненых, длинно обсуждали качество самосада, крутя пробные самокрутки, либо стояли, переминаясь с ноги на ногу, в очереди к бане; писатели, знаменитые хлебосольством, обсуждали мировые вопросы, судьбы литературы за рюмкой самогона, закусывали пайковым хлебом.

Огромные учреждения втискивались в тесные куйбышевские этажи; руководители главных советских газет принимали посетителей за столами, на которых в послеслужебное время дети готовили уроки, а женщины занимались шитьем.

В этой смеси государственной громады с эвакуационной богемой было нечто привлекательное.

Евгении Николаевне пришлось пережить много волнений в связи с пропиской.

Начальник конструкторского бюро, в котором она начала работать, подполковник Ризин, высокий мужчина с тихим, журчащим голосом, с первых же дней стал вздыхать об ответствен-

ности начальника, принявшего работника с неоформленной пропиской. Ризин велел ей пойти в милицию, выдал справку о зачислении на работу.

Сотрудник районного отделения милиции взял у Евгении Николаевны паспорт и справки, велел прийти за ответом через три дня.

В назначенный день Евгения Николаевна вошла в полутемный коридор, где сидели ожидавшие приема люди с тем особым выражением лица, какое бывает лишь у пришедших в милицию по поводу паспортных и прописочных дел. Она подошла к окошечку. Женская рука с ногтями, покрытыми черно-красным лаком, протянула ей паспорт, спокойный голос сказал ей:

– Вам отказано.

Она заняла очередь, чтобы поговорить с начальником паспортного стола. Люди в очереди разговаривали шепотом, оглядываясь на проходивших по коридору служащих девиц с накрашенными губами, одетых в ватники и сапоги. Поскрипывая сапогами, неторопливо прошел человек в демисезонном пальто и в кепке, с выглядывавшим из-под кашне воротом военной гимнастерки, открыл ключиком то ли английский, то ли французский замок в двери, – это был Гришин, начальник паспортного стола. Начался прием. Евгения Николаевна заметила, что люди, дождавшись своей очереди, не радовались, как это обычно бывает после долгого ожидания, а, подходя к двери, озирались, словно собираясь в последнюю минуту бежать.

За время ожидания Евгения Николаевна наслушалась рассказов о дочерях, которых не прописали у матерей, о парализованной, которой было отказано в прописке у брата, о женщине, приехавшей ухаживать за инвалидом войны и не получившей прописки.

Евгения Николаевна вошла в кабинет Гришина. Он молча указал ей на стул, посмотрел ее бумаги, сказал:

– Вам ведь отказано, чего же вы хотите?

– Товарищ Гришин, – проговорила она, и голос ее дрожал, – поймите, ведь все это время мне не выдают карточек.

Он смотрел на нее неморгающими глазами, его широкое молодое лицо выражало задумчивое равнодушие.

– Товарищ Гришин, – сказала Женя, – подумайте сами, как получается. В Куйбышеве есть улица имени Шапошникова. Это мой отец, он один из зачинателей революционного движения в Самаре, а дочери его вы отказываете в прописке...

Спокойные глаза Гришина смотрели на нее: он слушал то, что она говорила.

– Вызов нужен, – сказал он. – Без вызова не пропишу.

– Я ведь работаю в военном учреждении, – сказала Женя.

– По вашим справкам этого не видно.

– А это поможет?

Он неохотно ответил:

– Возможно.

Утром Евгения Николаевна, придя на работу, сказала Ризину, что ей отказано в прописке, – он развел руками и зажурчал:

– Ах, дурачье, неужели не понимают, что вы для нас с первых дней стали необходимым работником, что вы выполняете работу оборонного характера.

– Вот-вот, – сказала Женя. – Он сказал, что надо справку о том, что наше учреждение подведомственно Наркомату обороны. Очень прошу вас, напишите, я вечером пойду с ней в милицию.

Через некоторое время Ризин подошел к Жене и виноватым голосом сказал:

– Надо, чтобы органы или милиция прислали запрос. Без запроса мне запрещено писать подобную справку.

Вечером она пошла в милицию и, высидев в очереди, ненавидя себя за искательную улыбку, стала просить Гришина запросить справку у Ризина.

– Никаких запросов я не собираюсь писать, – сказал Гришин.

Ризин, услышав об отказе Гришина, заохал, проговорил задумчиво:

– Знаете что, попросите его, пусть хотя бы по телефону меня запросит.

На следующий вечер Жене предстояла встреча с московским литератором Лимоновым, когда-то знавшим ее отца. Сразу же после работы она пошла в милицию, стала просить у сидевших в очереди, чтобы ей разрешили зайти к начальнику паспортного стола «буквально на минуточку», лишь задать вопрос. Люди пожимали плечами, отводили глаза. Она с обидой сказала:

– Ах так, ну что ж, кто последний?..

В этот день милицейские впечатления Жени были особенно тяжелыми. У женщины с отечными ногами в комнате у начальника паспортного стола сделался припадок, – она громко вскрикивала: «Я вас умоляю, я вас умоляю». Безрукий ругался у Гришина в комнате матерными словами, следующий за ним тоже шумел, донеслись его слова: «Не уйду». Но ушел он очень быстро. Во время этого шума одного лишь Гришина не было слышно, он ни разу не повысил голоса, казалось, его не было, – люди одни, сами по себе кричали, грозились.

Она просидела в очереди полтора часа и снова, ненавидя свое ласковое лицо и свое торопливое «большое спасибо», ответившие на малый кивок «садитесь», стала просить Гришина позвонить по телефону ее начальнику, – Ризин сперва сомневался, имеет ли он право дать справку без письменного запроса за номером и печатью, но потом согласился, – он напишет справку, указав: «В ответ на ваш устный запрос от такого-то числа такого-то месяца».

Евгения Николаевна положила перед Гришиным заранее заготовленную бумажку, где крупным выпуклым почерком она написала номер телефона, имя, отчество Ризина, его звание, его должность, а мелким почерком, в скобках: «Обеденный перерыв от и до». Но Гришин не взглянул на бумажку, положенную перед ним, сказал:

– Никаких запросов я делать не буду.

– Но почему же? – спросила она.

– Не положено.

– Подполковник Ризин говорит, что без запроса, хотя бы устного, он не имеет права давать справки.

– Раз не имеет права, пусть не пишет.

– Но как же мне быть?

– А я почем знаю.

Женя терялась от его спокойствия – если б он сердился, раздражался ее бестолковостью, казалось, было бы легче. А он сидел, повернувшись вполоборота, не шевельнув веком, никуда не спешил.

Мужчины, разговаривая с Евгенией Николаевной, всегда замечали, что она красива, она всегда ощущала это. Но Гришин смотрел на нее так же, как на старух со слезящимися глазами и на инвалидов, – входя в его комнату, она уже не была человеком, молодой женщиной, лишь носителем просьбы.

Она терялась от своей слабости, от огромности его железобетонной силы. Евгения Николаевна шла по улице, спешила, опоздав к Лимонову больше чем на час, но, спеша, она уже не радовалась предстоящей встрече. Она ощущала запах милицейского коридора, в глазах ее стояли лица ожидавших, портрет Сталина, освещенный тусклым электричеством, и рядом Гришин. Гришин, спокойный, простой, вобравший в свою смертную душу всеислие государственного гранита.

Лимонов, толстый и высокий, большеголовый, с молодыми юношескими кудрями вокруг большой лысины, встретил ее радостно.

– А я боялся, что вы не придете, – говорил он, помогая снять Жене пальто.

Он стал расспрашивать ее об Александре Владимировне:

– Ваша мама еще со студенческих времен для меня стала образцом русской женщины с мужественной душой. Я о ней всегда в книгах пишу, то есть не собственно о ней, а вообще, словом, вы понимаете.

Понизив голос и оглянувшись на дверь, он спросил:

– Слышно ли что-нибудь о Дмитрие?

Потом они заговорили о живописи и вдвоем стали ругать Репина. Лимонов принялся жарить яичницу на электроплитке, сказал, что он лучший специалист по омлетам в стране, – повар из ресторана «Националь» учился у него.

– Ну как? – с тревогой спросил он, угощая Женю, и, вздохнув, добавил: – Грешен, люблю пожрать.

Как велик был гнет милицейских впечатлений! Придя в теплую, полную книг и журналов комнату Лимонова, куда вскоре пришли еще двое пожилых остроумных, любящих искусство людей, она все время холодеющим сердцем чувствовала Гришина.

Но велика сила свободного, умного слова, и Женя минутами забывала о Гришине, о тоскливых лицах в очереди. Казалось, ничего нет в жизни, кроме разговоров о Рублеве, о Пикассо, о стихах Ахматовой и Пастернака, драмах Булгакова.

Она вышла на улицу и сразу же забыла умные разговоры.

Гришин, Гришин... В квартире никто не говорил с ней о том, прописана ли она, никто не требовал предъявления паспорта со штампом о прописке. Но уже несколько дней ей казалось, что за ней следит старшая по квартире Глафира Дмитриевна, длинноногая, всегда ласковая, юркая женщина с вкрадчивым, беспредельно фальшивым голосом. Каждый раз, сталкиваясь с Глафирой Дмитриевной и глядя в ее темные, одновременно ласковые и угрюмые глаза, Женя пугалась. Ей казалось, что в ее отсутствие Глафира Дмитриевна с подобранным ключом забирается к ней в комнату, роется в ее бумагах, снимает копии с ее заявлений в милицию, читает письма.

Евгения Николаевна старалась бесшумно открывать дверь, ходила по коридору на цыпочках, боясь встретить старшую по квартире. Вот-вот та скажет ей: «Что ж это вы нарушаете законы, а я за вас отвечать должна?»

Утром Евгения Николаевна зашла в кабинет к Ризину, рассказала ему о своей очередной неудаче в паспортном столе.

– Помогите мне достать билет на пароход до Казани, а то меня, вероятно, погонят на торфоразработки за нарушение паспортного режима.

Она больше не просила его о справке, говорила насмешливо, зло.

Большой красивый человек с тихим голосом смотрел на нее, стыдясь своей робости. Она постоянно чувствовала на себе его тоскующий, нежный взгляд, он оглядывал ее плечи, ноги, шею, затылок, и она плечами, затылком чувствовала этот настойчивый, восхищенный взгляд. Но сила закона, определявшего движения исходящих и входящих бумаг, видимо, была нешутливая сила.

Днем Ризин подошел к Жене и молча положил на чертежный лист заветную справку.

Женя так же молча посмотрела на него, и слезы выступили на ее глазах.

– Я запросил через секретную часть, – сказал Ризин, – но не надеялся и вдруг получил санкцию начальника.

Сотрудники поздравляли ее, говорили: «Наконец-то кончились ваши мучения».

Она пошла в милицию. Люди в очереди кивали ей, некоторые стали ей знакомы, спрашивали: «Ну как?..»

Несколько голосов произнесли: «Пройдите без очереди... у вас ведь минутное дело, чего же опять ждать два часа».

Канторский стол, несгораемый шкаф, грубо раскрашенный под дерево коричневыми разводами, не показались ей такими угрюмыми, казенными.

Гришин смотрел, как торопливые пальцы Жени положили перед ним нужную бумагу, едва заметно, удовлетворенно кивнул:

– Ну что ж, оставьте паспорт, справки, через три дня в приемные часы получите документы в регистратуре.

Голос его звучал по-обычному, но светлые глаза Гришина, показалось Жене, приветливо улыбнулись.

Она шла к дому и думала, что Гришин оказался таким же человеком, как все, – смог сделать хорошее и улыбнулся. Он оказался не бессердечен, – и ей стало неловко за все то плохое, что она думала о начальнике паспортного стола.

Через три дня большая женская рука с черно-красными лакированными ногтями протянула ей из окошечка паспорт с аккуратно вложенными в него бумагами. Женья прочла четким почерком написанную резолюцию: «В прописке отказать, как не имеющей отношения к данной жилплощади».

– Сукин сын, – громко сказала Женья и, не имея силы сдержаться, продолжала: – Издатель, бездушный мучитель!

Она говорила громко, потрясая в воздухе непрописанным паспортом, обращаясь к сидевшим в очереди людям, хотела их поддержки, но видела, как они отворачивались от нее. Дух бунтовщицы вспыхнул на миг в ней, дух отчаяния и бешенства. Вот так же кричали иногда обезумевшие от отчаяния женщины в очередях тридцать седьмого года, стоя за справками об осужденных без права переписки в полутемном приемном зале Бутырской тюрьмы, на Матросской Тишине в Сокольниках.

Милиционер, стоявший в коридоре, взял Женю за локоть, стал толкать ее к двери.

– Пустите меня, не трогайте! – и она вырвала руку, оттолкнула его от себя.

– Гражданка, – сипло сказал он, – прекратите, не вынуждайте на десять лет!

Ей показалось, что в глазах милиционера мелькнуло сочувственное, жалостливое выражение.

Она быстро пошла к выходу. По улице, толкая ее, шли люди, все они были прописаны, имели прикрепленные к распределителям карточки...

Ночью ей снился пожар, она наклонилась над лежащим раненым человеком, уткнувшимся лицом в землю, пыталась тащить его и понимала, хотя не видела его лица, что это Крымов.

Она проснулась измученная, подавленная.

«Хоть бы скорей он приехал, – думала она, одеваясь, бормотала: – Помоги мне, помоги мне».

И ей страстно, до боли захотелось увидеть не Крымова, которого ночью спасала, а Новикова, таким, каким видела его летом в Сталинграде.

Эта бесправная жизнь без прописки, без карточек, в вечном страхе перед дворником, управдомом, старшей по квартире Глафирой Дмитриевной была тяжела, невыносимо мучила. Женья пробиралась на кухню, когда все спали, а утром старалась умыться до того, как проснутся жильцы. А когда жильцы с ней заговаривали, голос у нее становился какой-то противно ласковый, не свой, как у баптистки.

Днем Женья написала заявление об уходе со службы.

Она слышала, что после отказа в паспортном отделе является участковый и берет подписку о выезде из Куйбышева в трехдневный срок. В тексте подписки говорилось: «Лица, виновные в нарушении паспортного режима, подлежат...» Женья не хотела «подлежать...». Она примирилась с тем, что ей нужно выехать из Куйбышева. Сразу стало спокойней на душе, мысль о Гришине, о Глафире Дмитриевне, о ее мягких, как гнилые маслины, глазах перестала томить, пугать. Она отказалась от беззакония, подчинилась закону.

Когда она написала заявление и собиралась нести его Ризину, ее позвали к телефону – звонил Лимонов.

Он спросил ее, свободна ли она завтра вечером, приехал человек из Ташкента и очень смешно рассказывает о тамошней жизни, привез Лимонову привет от Алексея Толстого. Снова пахнуло на нее другой жизнью.

Женя, хотя не собиралась делать этого, рассказала Лимонову о своих делах с пропиской.

Он слушал ее, не перебивая, потом сказал:

– Вот история, даже любопытно: у папы собственная улица в Куйбышеве, а дочку вышибают, отказывают в прописке. Занятно. Занятно.

Он подумал немного и сказал:

– Вот что, Евгения Николаевна, вы свое заявление сегодня не подавайте, я вечером буду на совещании у секретаря обкома и расскажу ему о вашем деле.

Женя поблагодарила, но подумала, что Лимонов забудет о ней тут же, положив телефонную трубку. Но все же заявление она Ризину не передала, а лишь спросила, сможет ли он через штаб Военного округа достать ей билет на пароход до Казани.

– Это-то проще простого, – сказал Ризин и развел руками. – Беда с органами милиции. Да что поделаешь, Куйбышев на особом режиме, у них есть спеуказание.

Он спросил ее:

– Вы свободны сегодня вечером?

– Нет, занята, – сердито ответила Женя.

Она шла домой и думала, что скоро увидит мать, сестру, Виктора Павловича, Надю, что в Казани ей будет лучше, чем в Куйбышеве. Она удивлялась, почему так огорчалась, замирала от страха, входя в милицию. Отказали – и наплевать... А если Новиков пришлет письмо, можно ведь попросить соседей – перешлют в Казань.

Утром, едва она пришла на работу, ее вызвали к телефону, и чей-то любезный голос попросил ее зайти в паспортный стол городской милиции оформить прописку.

25

У Жени завязалось знакомство с одним из жильцов квартиры – Шарогородским. Когда Шарогородский резко поворачивался, казалось, большая, седая алебастровая голова его сорвется с тонкой шеи и с грохотом упадет на пол. Женя заметила, что бледная кожа на лице старика отливала мягкой голубизной. Это соединение голубизны кожи и холодной голубизны глаз очень занимало Женю; старик происходил из высокого дворянства, и ее сместила мысль о том, что старика нужно рисовать голубым.

Владимир Андреевич Шарогородский до войны жил хуже, чем во время войны. Сейчас у него появилась кое-какая работа. Совинформбюро заказывало ему заметки о Дмитрие Донском, Суворове, Ушакове, о традициях русского офицерства, о поэтах девятнадцатого века – Тютчеве, Баратынском...

Владимир Андреевич сказал Жене, что по материнской линии он родня стариннейшему, более древнему, чем Романовы, княжескому роду.

Юношей он служил в губернском земстве и проповедовал среди помещичьих сыновей, сельских учителей и молодых священников совершеннейшее вольтерьянство и чаадаевщину.

Владимир Андреевич рассказал Жене о своем разговоре с губернским предводителем дворянства – это было сорок четыре года назад. «Вы, представитель одного из старинных родов России, взялись доказывать мужикам, что ведете происхождение от обезьяны. Мужик вас спросит, – а великие князья? А наследник цесаревич? А государыня? А сам государь?..»

Владимир Андреевич продолжал смущать умы, и дело кончилось тем, что его выслали в Ташкент. Спустя год его простили, и он уехал в Швейцарию. Там он встречался со многими революционными деятелями, – чудаковатого князя знали и большевики, и меньшевики, и эсеры, и анархисты. Он ходил на диспуты и вечеринки, с некоторыми был приятен, но ни с кем не соглашался. В ту пору он дружил со студентом-евреем, чернобородым бундовцем Липецом.

Незадолго до Первой мировой войны он вернулся в Россию и поселился у себя в имении, изредка печатал статьи на исторические и литературные темы в «Нижегородском листке».

Хозяйством он не занимался, имением правила его мать.

Шарогородский оказался единственным помещиком, имение которого не тронули крестьяне. Комбед даже выделил ему подводу дров и выдал сорок головок капусты. Владимир Андреевич сидел в единственной отапливаемой и застекленной комнате дома, читал и писал стихи. Одно стихотворение он прочел Жене. Оно называлось «Россия»:

Безумная беспечность
На все четыре стороны.
Равнина. Бесконечность.
Кричат зловеще вороны.

Разгул. Пожары. Скрытность.
Тупое безразличие.
И всюду самобытность
И жуткое величие.

Читал он, бережно произнося слова и расставляя точки, запятые, высоко поднимая свои длинные брови, отчего, однако, его просторный лоб не казался меньше.

В 1926 году Шарогородский вздумал читать лекции по истории русской литературы, опровергал Демьяна Бедного и прославлял Фета, выступал на дискуссиях о красоте и правде жизни, которые были тогда модны, он объявил себя противником всякого государства, объявил

марксизм ограниченным учением, говорил о трагической судьбе русской души, договорился и доспорился до того, что на казенный счет вновь уехал в Ташкент. Там жил он, удивляясь силе географических аргументов в теоретическом споре, и лишь в конце 1933 года получил разрешение переехать в Самару, к своей старшей сестре Елене Андреевне. Она умерла незадолго до войны.

К себе в комнату Шарогородский не приглашал никогда. Но однажды Женя заглянула в княжьи покои: груды книг и старых газет высились холмами по углам, старинные кресла громоздились друг на дружке почти до самого потолка, портреты в золоченых рамах стояли на полу. На крытом красным бархатом диване лежало смятое, с вылезающими комьями ваты одеяло.

Это был человек мягкий, беспомощный в делах практической жизни. О таких людях принято говорить, – детской души человек, ангельской доброты. Но он мог равнодушно пройти, бормоча свои любимые стихи, мимо голодного ребенка либо оборванной старухи, протягивающей руку за куском хлеба.

Слушая Шарогородского, Женя часто вспоминала своего первого мужа, уж очень не походил старый поклонник Фета и Владимира Соловьева на коминтерновца Крымова.

Ее поражало, что Крымов, равнодушный к прелести русского пейзажа и русской сказки, фетовского и тютчевского стиха, был таким же русским человеком, как старик Шарогородский. Все, что с юности было дорого Крымову в русской жизни, имена, без которых не мыслил он себе России, все это было безразлично, а иногда и враждебно Шарогородскому.

Для Шарогородского Фет был Богом, и прежде всего русским Богом. И так же божественны были для него сказки о Финисте Ясном Соколе, «Сомнение» Глинки. И как ни восхищался он Данте, тот для него был лишен божественности русской музыки, русской поэзии.

А Крымов не делал различия между Добролюбовым и Лассалем, Чернышевским и Энгельсом. Для него Маркс был выше всех русских гениев, для него «Героическая» симфония Бетховена безраздельно торжествовала над русской музыкой. Пожалуй, лишь Некрасов был для него исключением, первым в мире поэтом. Минутами Евгении Николаевне казалось, что Шарогородский помогает ей понять не только Крымова, но и судьбу ее отношений с Николаем Григорьевичем.

Жене нравилось разговаривать с Шарогородским. Обычно разговор начинался с тревожных сводок, потом Шарогородский пускался в рассуждения о судьбе России.

– Русское дворянство, – говорил он, – виновато перед Россией, Евгения Николаевна, но оно умело ее любить. В ту, первую войну нам ничего не простили, каждое лычко поставили в строку, – и наших дураков, и оболтусов, и сонных обжор, и Распутина, и полковника Мясоедова, и липовые аллеи, и беспечность, и черные избы, и лапти... Шесть сыновей моей сестры погибли в Галиции, в Восточной Пруссии, мой брат, старый, больной человек, был убит в бою, – но им история не зачла этого... А надо бы.

Часто Женя слушала его совершенно не схожие с современными рассуждения о литературе. Фета он ставил выше Пушкина и Тютчева. Фета он знал так, как, конечно, не знал его ни один человек в России, да, вероятно, и сам Фет под конец жизни не помнил о себе всего того, что знал о нем Владимир Андреевич.

Льва Толстого он считал слишком реальным и, признавая в нем поэзию, не ценил его. Тургенева он ценил, но считал его талант недостаточно глубоким. В русской прозе ему больше всего нравились Гоголь и Лесков.

Он считал, что первыми погубителями русской поэзии были Белинский и Чернышевский.

Он сказал Жене, что, кроме русской поэзии, он любит три вещи, все на букву «с» – сахар, солнце и сон.

– Неужели я умру, не увидев ни одного своего стихотворения напечатанным? – спрашивал он.

Как-то, возвращаясь со службы, Евгения Николаевна встретила Лимонова. Он шел по улице в раскрытом зимнем пальто, с болтающимся на шее ярким клетчатым кашне, опираясь на суковатую палку. Странно выглядел среди куйбышевской толпы этот массивный человек в боярской бобровой шапке.

Лимонов проводил Женю до дома. Она пригласила его зайти, выпить чаю, он внимательно посмотрел на нее и сказал: «Ну что ж, спасибо, вообще-то с вас пол-литра полагается за прописку», – тяжело дыша, стал взбираться по лестнице.

Лимонов вошел в маленькую Женину комнату и сказал: «Да-а, телесам моим тут тесно, авось мыслям будет просторно».

Он вдруг заговорил с ней каким-то не совсем натуральным голосом, начал объяснять свою теорию любви, любовных отношений.

– Авитаминоз, духовный авитаминоз! – с одышкой говорил он. – Понимаете, вот такой могучий голод, как у быков, коров, оленей, жаждущих соли. То, чего во мне нет, то, чего нет в моих близких, в моей жене, я ищу в предмете своей любви. Жена – причина авитаминоза! И мужчина жаждет найти в своей возлюбленной то, чего годами, десятилетиями не находил в своей жене. Понятно вам?

Он взял ее за руку и стал гладить ее ладонь, потом стал гладить ее по плечу, коснулся шеи, затылка.

– Вы понимаете меня? – вкрадчиво спрашивал он. – Очень просто все. Духовный авитаминоз!

Женя смеющимися и смущенными глазами глядела, как большая белая рука с полированными ногтями пропутешествовала с ее плеча на грудь, и сказала:

– Видимо, авитаминоз бывает не только духовный, но и физический, – и поучающим голосом преподавательницы первого класса добавила: – Лапать меня не надо, право же, не надо.

Он оторопело посмотрел на нее и, вместо того чтобы смутиться, стал смеяться. И она стала смеяться вместе с ним.

Они пили чай и говорили о художнике Сарьяне. В дверь постучал старик Шарогородский.

Оказалось, Лимонов знал имя Шарогородского по чьим-то рукописным запискам и из чьих-то хранящихся в архиве писем. Шарогородский книг Лимонова не читал, но слышал его фамилию, она обычно упоминалась при газетных перечислениях пишущих на военно-исторические темы.

Они заговорили, заволновались, обрадовались, ощутив общность, и в разговоре их замелькали имена Соловьева, Мережковского, Розанова, Гиппиус, Белого, Бердяева, Устрялова, Бальмонта, Милюкова, Евреинова, Ремизова, Вячеслава Иванова.

Женя подумала, что два этих человека словно подняли со дна затонувший мир книг, картин, философских систем, театральных постановок...

А Лимонов вдруг вслух повторил ее мысль:

– Мы с вами словно Атлантиду со дна моря подняли.

Шарогородский грустно кивнул:

– Да, да, но вы лишь исследователь русской Атлантиды, а я житель ее, вместе с ней опустился на океанское дно.

– Что ж, – сказал Лимонов, – война кое-кого подняла из Атлантиды на поверхность.

– Да, оказалось, – проговорил Шарогородский, – что создатели Коминтерна в час войны ничего лучшего не придумали, как повторить: священная русская земля.

Он улыбнулся.

– Подождите, война кончится победой, и тогда интернационалисты объявят: «Наша матушка-Россия всему свету голова».

Странная вещь, Евгения Николаевна ощущала, что они говорят так оживленно, многословно, остроумно не только потому, что обрадовались встрече, нашли близкую им обоим тему. Она понимала, что оба они – и совсем старый и очень пожилой – все время ощущают, что она слушает их, она нравилась им. Как это все же странно. И странно то, что ей это совершенно безразлично и даже смешно, и в то же время совсем не безразлично, а приятно.

Женя смотрела на них и думала: «А ведь понять себя невозможно... Почему мне так больно за прошлую жизнь, почему мне так жалко Крымова, почему я неотступно думаю о нем?»

И так же, как когда-то ей казались чужими коминтерновские немцы и англичане Крымова, сейчас она с тоской и враждебностью слушала Шаргородского, когда он насмешливо заговорил о коминтерновцах. Тут и лимоновская теория авитаминоза не поможет разобраться. Да и нет в этих делах теории...

И вдруг ей показалось, что она все время думает и тревожится о Крымове лишь потому, что тоскует по другому человеку, о котором, казалось, почти совсем не вспоминает.

«Да неужели я действительно люблю его?» – удивилась она.

26

Ночью небо над Волгой очистилось от туч. Медленно плыли под звездами холмы, расколотые густой тьмой оврагов.

Изредка проносились метеоры, и Людмила Николаевна беззвучно произносила: «Пусть Толя останется жив».

Это было ее единственное желание, больше она ничего не хотела от неба...

Одно время, еще учась на физмате, она работала вычислительницей в Астрономическом институте. Тогда она узнала, что метеоры движутся потоками, встречающими Землю в разные месяцы, – персеиды, ориониды, кажется, еще геминиды, леониды. Она уже забыла, какой поток метеоров встречается с Землей в октябре, в ноябре... Но пусть Толя будет жив!

Виктор упрекал ее в том, что она не любит помогать людям, плохо относится к его родным. Он считает, – захоти Людмила, Анна Семеновна жила бы с ними и не осталась бы на Украине.

Когда двоюродного брата Виктора выпустили из лагеря и направляли в ссылку, она не хотела пустить его ночевать, боялась, что об этом узнает домоуправление. Она знала: мать помнит, что Людмила жила в Гаспре, когда отец умирал, и Людмила не прервала отдыха, приехала в Москву на второй день после похорон.

Мать иногда говорила с ней о Дмитриии, ужасалась тому, что произошло с ним:

«Он был мальчиком правдивым, прямым, таким он оставался всю жизнь. И вдруг шпионаж, подготовка убийства Кагановича и Ворошилова... Дикая, страшная ложь, кому нужна она? Кому нужно губить искренних, честных?..»

Однажды она сказала матери: «Не можешь ты полностью ручаться за Митю. Невинных не сажают». И сейчас ей вспоминался взгляд, которым посмотрела на нее мать.

Как-то она сказала матери о жене Дмитрия:

– Я ее всю жизнь терпеть не могла, скажу тебе откровенно, я и теперь ее терпеть не могу.

И сейчас ей вспомнился ответ матери:

– Да ты понимаешь, что это все значит: сажать жену на десять лет за недонесение на мужа!

Потом ей вспомнилось: она как-то принесла домой щенка, найденного на улице, и Виктор не хотел взять этого щенка, и она крикнула ему:

– Жестокий ты человек!

А он ответил ей:

– Ах, Люда, я не хочу, чтобы ты была молода и красива, я одного хочу, чтобы у тебя было доброе сердце не только к кошкам и собакам.

Сейчас, сидя на палубе, она вспоминала, впервые не любя себя, не желая обвинять других, горькие слова, которые ей пришлось выслушать в своей жизни... Когда-то муж, смеясь, сказал по телефону: «С тех пор, как мы взяли котенка, я слышу ласковый голос жены».

Мать ей как-то сказала: «Люда, как это ты можешь отказывать нищим, – ведь подумай: голодный просит у тебя, у сытой...»

Но она не была скупой. Она любила гостей, ее обеды были знамениты среди знакомых.

Никто не видел, как она плакала, сидя ночью на палубе. Пусть, пусть она черства, она забыла все, что учила, она ни к чему не пригодна, она никому уже не может нравиться, растолстела, волосы серые от седины, и высокое давление, муж ее не любит, поэтому она и кажется ему бессердечной. Но лишь бы Толя был жив! Она готова все признать, покаяться во всем плохом, что ей приписывают близкие, – только бы он был жив!

Почему она все время вспоминает своего первого мужа? Где он, как найти его? Почему она не написала его сестре в Ростов, теперь-то не напишешь – немцы. Сестра бы ему сообщила о Толе.

Шум паровой машины, подрагивания палубы, всплеск воды, мерцание звезд в небе, – все смешалось и слилось, и Людмила Николаевна задремала.

Приближалось время рассвета. Туман колыбался над Волгой, и казалось, все живое утонуло в нем. И вдруг взошло солнце, – словно взрыв надежды! Небо отразилось в воде, и темная осенняя вода задышала, и солнце словно вскрикивало на речной волне. Береговой откос был круто просолен ночным морозом, и как-то особенно весело смотрели среди инея рыжие деревья. Налетел ветер, исчез туман, мир стал стеклянный, пронзительно прозрачный, и не было тепла ни в ясном солнце, ни в синеве воды и неба.

Земля была огромна, и даже лес на ней не стоял без края, видны были и начало его и конец, а земля все длилась, тянулась.

И таким же огромным и вечным, как Земля, было горе.

Она видела ехавших в Куйбышев в каютах первого класса наркоматовских руководителей, в бекешах защитного цвета, в шапках из серого полковничьего каракуля. В каютах второго класса ехали ответственные жены, ответственные тещи, по чину обмундированные, словно имела особая форма для жен, своя для тещ и свекровей. Жены – в меховых шубках, с белыми пуховыми платками, тещи и матери – в синих суконных шубах с черными каракулевыми воротниками, с коричневыми платками. С ними ехали дети со скучными недовольными глазами. Через окна кают видны были продукты, следовавшие вместе с этими пассажирами, – опытный глаз Людмилы легко определял содержимое мешков; в кошелках, в запаянных банках, темных больших бутылках с засургученными горлышками плыли вниз по Волге мед, топленое масло. По отрывкам разговоров гулявших по палубе классных пассажиров ясно было, что их всех занимает и волнует идущий из Куйбышева московский поезд.

Людмиле казалось, что женщины безразлично смотрят на красноармейцев и лейтенантов, сидящих в коридорах, точно у них не было на войне сыновей и братьев.

Когда передавали утреннее сообщение «От Советского Информбюро», они не стояли под рупором вместе с красноармейцами, паровыми матросами, а, шурясь заспанными глазами на громкоговоритель, пробирались по своим делам.

От матросов Людмила узнала, что весь пароход был дан для семей ответственных работников, возвращающихся через Куйбышев в Москву, и что в Казани по приказу военных властей на него произвели посадку воинских команд и гражданских лиц. Законные пассажиры устроили скандал, отказывались пустить военных, звонили по телефону уполномоченному Государственного Комитета Обороны.

Нечто непередаваемо странное было в виноватых лицах красноармейцев, едущих под Сталинград и чувствующих, что они стеснили законных пассажиров.

Людмиле Николаевне казались невыносимыми эти спокойные женские глаза. Бабушки подзывали внуков и, продолжая разговор, привычным движением совали во внучащие рты печенье. А когда из расположенной на носу каюты вышла на палубу прогуливать двух мальчиков приземистая старуха в шубе из колонка, женщины торопливо кланялись ей, улыбались, а на лицах государственных мужей появлялось ласковое и беспокойное выражение.

Объяви сейчас радио об открытии второго фронта, о том, что прорвана блокада Ленинграда, – никто из них не дрогнет, но скажет им кто-либо, что в московском поезде отменен международный вагон, – и все события войны будут поглощены великими страстями мягких и жестких плацкарт.

Удивительно! Ведь Людмила Николаевна своим обмундированием – серой каракулевой шубой, пуховым платком, походила на пассажиров первого и второго класса. Ведь недавно и она переживала плацкартные страсти, возмущалась, что Виктору Павловичу для поездки в Москву не дали билета в мягкий вагон.

Она рассказала лейтенанту-артиллеристу, что ее сын, лейтенант-артиллерист, лежит с тяжелыми ранениями в саратовском госпитале. Она говорила с больной старухой о Марусе и

о Вере, о свекрови, пропавшей на оккупированной территории. Ее горе было такое же, как горе, вздыхавшее на этой палубе, горе, которое всегда находило свою дорогу от госпиталей, от фронтовых могил к деревенским избам, к стоящему на безымянном пустыре безномерному барaku.

Уходя из дома, она не взяла с собой кружку, не взяла хлеба; казалось, что она всю дорогу не будет ни есть, ни пить.

Но на пароходе с самого утра ей мучительно захотелось есть, и Людмила поняла, что ей круто придется. На второй день пути красноармейцы, сговорившись с кочегарами, сварили в машинном отделении суп с пшеном, позвали Людмилу и ей налили в котелок супа.

Людмила сидела на пустом ящике и хлебала из чужого котелка чужой ложкой обжигающий суп.

– Хорош супчик! – сказал ей один из кашеваров и, так как Людмила Николаевна молчала, заодно спросил ее: – А не так разве, не наваристый?

Именно в этом требовании похвалы, обращенном к человеку, которого красноармеец накормил, и ощущалась простодушная широта.

Она помогла бойцу заправить пружину в неисправный автомат, чего не мог сделать даже старшина с орденом Красной Звезды.

Людмила Николаевна, прислушавшись к спору лейтенантов-артиллеристов, взяла карандаш и помогла им вывести тригонометрическую формулу.

После этого случая лейтенант, звавший ее «гражданочкой», неожиданно спросил, как ее зовут по имени и отчеству. А ночью Людмила Николаевна ходила по палубе.

Река дышала ледяным холодом, из тьмы налетал низовой, безжалостный ветер. А над головой светили звезды, и не было утешения и покоя в этом жестоком, из огня и льда небе, стоявшем над ее несчастной головой.

27

Перед приходом парохода во временную военную столицу капитан получил распоряжение продлить рейс до Саратова, погрузить на пароход раненых из саратовских госпиталей.

Пассажиры, ехавшие в каютах, стали готовиться к высадке, выносили чемоданы, пакеты, укладывали их на палубе.

Стали видны силуэты фабрик, домики под железными крышами, бараки, и, казалось, по-иному зашумела вода за кормой, по-иному, тревожней застучала пароходная машина.

А потом медленно стала выползать громада Самары, серая, рыжая, черная, поблескивающая стеклами, в клочьях фабричного, паровозного дыма.

Пассажиры, сшедшие в Куйбышеве, стояли у борта.

Сшедшие на берег не прощались, не кивали в сторону остающихся, – не завязались в дороге знакомства.

Старуху в колонковой шубе и ее двух внуков ожидал автомобиль «ЗИС-101». Желтолицый человек в бекеше генеральского сукна откозырял старухе, поздоровался с мальчиками за руку.

Прошло несколько минут, и пассажиры с детьми, с чемоданами, пакетами исчезли, точно и не было их.

На пароходе остались лишь шинели, ватники.

Людмиле Николаевне показалось, что теперь ей легче и лучше будет дышаться среди людей, объединенных одной судьбой, трудом, горем.

Но она ошиблась.

28

Грубо и жестоко встретил Людмилу Николаевну Саратов.

Сразу же на пристани она столкнулась с каким-то одетым в шинель пьяным человеком; споткнувшись, он толкнул ее и выругал грязными словами.

Людмила Николаевна стала взбираться по крутому, замощенному булыжником взвозу и остановилась, тяжело дыша, оглянулась. Пароход белел внизу между пристанских серых амбаров и, словно поняв ее, негромко, отрывисто протрубил: «Иди уж, иди». И она пошла.

При посадке в трамвай молодые женщины с молчаливой старательностью отпихивали старых и слабых. Слепой в красноармейской шапке, видимо, недавно выпущенный из госпиталя, не умея еще одиноко нести свою слепоту, переминался суетливыми шажками, дробно постукивал палочкой перед собой. Он по-детски жадно ухватился за рукав немолодой женщины. Она отдернула руку, шагнула, звеня по булыжнику подкованными сапогами, и он, продолжая цепляться за ее рукав, торопливо объяснял:

– Помогите произвести посадку, я из госпиталя.

Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потерял равновесие, сел на мостовую.

Людмила поглядела на лицо женщины.

Откуда это нечеловеческое выражение, что породило его – голод в 1921 году, пережитый ею в детстве; мор 1930 года? Жизнь, полная по края нужды?

На мгновение слепой обмер, потом вскочил, закричал птичьим голосом. Он, вероятно, с невыносимой пронзительностью увидел своими слепыми глазами самого себя в съехавшей набок шапке, бессмысленно машущего палкой.

Слепой бил палкой по воздуху, и в этих круговых взмахах выражалась его ненависть к безжалостному зрячему миру. Люди, толкаясь, лезли в вагон, а он стоял, плача и вскрикивая. А люди, которых Людмила с надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя, точно сговорились вести себя не по-людски. Они точно сговорились опровергнуть взгляд, что добро можно заранее уверенно определить в сердцах тех, кто носит замасленную одежду, у кого потемнели в труде руки.

Что-то мучительное, темное коснулось Людмилы Николаевны и одним своим прикосновением наполнило ее холодом и тьмой тысячеверстных, нищих русских просторов, ощущением беспомощности в жизненной тундре.

Людмила переспросила кондукторшу, где нужно сходить, и та спокойно проговорила:

– Я уже объявляла, оглохла, что ли?

Пассажиры, стоявшие в трамвайном проходе, не отвечали на вопрос, сходят ли они, как окаменели, не желали подвинуться.

Когда-то Людмила училась в подготовительном «азбучном» классе саратовской женской гимназии. Зимним утром она сидела за столом, болтая ногами, и пила чай, а отец, которого она обожала, намазывал ей маслом кусок теплого калача... Лампа отражалась в толстой щеке самовара, и не хотелось уходить от теплой руки отца, от теплого хлеба, от тепла самовара.

И казалось, в ту пору не было в этом городе ноябрьского ветра, голода, самоубийц, умирающих в больницах детей, а одно лишь тепло, тепло, тепло.

Здесь на кладбище была похоронена ее старшая сестра Соня, умершая от крупа, – Александра Владимировна назвала ее Соней в честь Софьи Львовны Перовской. На этом же кладбище, кажется, и дедушка похоронен.

Она подошла к трехэтажному школьному зданию, то был госпиталь, где лежал Толя.

У двери не стоял часовой, и ей показалось, что это хорошая примета. Она ощутила госпитальный воздух, такой тягучий и липкий, что даже измученные морозом люди не радовались его теплу, а вновь хотели уйти от него на мороз. Она прошла мимо уборных, где сохранились

дощечки «для мальчиков» и «для девочек». Она прошла по коридору, и на нее пахнули кухни, она прошла еще дальше и через запотевшее окно разглядела сложенные во внутреннем дворе прямоугольные ящики-гробы, и снова, как у себя в передней с нераспечатанным письмом, она подумала: «О боже, если б сейчас упасть мертвой». Но она пошла большими шагами дальше, ступила на ковровую серую дорожку и, пройдя мимо тумбочек со знакомыми ей комнатными растениями – аспарагусами, филодендронами, – подошла к двери, на которой рядом с дощечкой «четвертый класс» висела сделанная от руки надпись: «регистратура».

Людмила взялась за ручку двери, и солнечный свет, прорвавшись сквозь тучи, ударил в окна, и все вокруг засияло.

А спустя несколько минут разговорчивый писарь, перебирая карточки в длинном сиявшем на солнце ящике, говорил ей:

– Так-так, значит, Шапошников А. Вэ... Анатолий Вэ... так... ваше счастье, что не встретили нашего коменданта, не раздевши, в пальто, он бы вам дал жизни... так-так... ну вот, значит, Шапошников... Да-да, он самый, лейтенант, правильно.

Людмила смотрела на пальцы, вытаскивающие карточку из длинного фанерного ящика, и казалось, она стоит перед Богом, и в его воле сказать ей слово жизни либо слово смерти, и вот он на миг замешкался, не решил еще, жить ее сыну или умереть.

29

Людмила Николаевна приехала в Саратов через неделю после того, когда Толе сделали еще одну, третью, операцию. Операцию производил военврач второго ранга Майзель. Операция была сложная и длительная, более пяти часов Толя находился под общим наркозом, дважды пришлось вводить в вену гексонал. Никто из госпитальных военных и клинических университетских хирургов подобной операции в Саратове не производил. Известна была она по литературным источникам, американцы в военно-медицинском журнале за 1941 год поместили ее подробное описание.

Ввиду особой сложности этой операции с лейтенантом после очередного рентгеновского исследования длительно и откровенно беседовал доктор Майзель. Он объяснил лейтенанту характер тех патологических процессов, которые происходили в его организме после ужасного ранения. Одновременно хирург откровенно рассказал о риске, сопутствующем операции. Он сказал, что врачи, консультировавшие вместе с ним, не единогласны в своем решении, – старый клиницист, профессор Родионов был против операции. Лейтенант Шапошников задал доктору Майзелю два-три вопроса и тут же в рентгеновском кабинете, после короткого размышления, согласился оперироваться. Пять дней ушло на подготовку к операции.

Операция началась в одиннадцать часов утра и закончилась лишь в четвертом часу. При операции присутствовал начальник госпиталя военный врач Димитрук. По отзывам врачей, наблюдавших за операцией, она прошла блестяще.

Майзель правильно решил тут же, стоя у операционного стола, неожиданные, не предусмотренные в литературном описании трудности.

Состояние больного во время операции было удовлетворительное, пульс хорошего наполнения, без выпадений.

Около двух часов дня доктор Майзель, человек немолодой и грузный, почувствовал себя плохо и вынужден был на несколько минут прервать работу. Доктор-терапевт Клестова дала ему валидол, после чего Майзель уже не делал перерывов до конца работы. Однако вскоре после окончания операции, когда лейтенант Шапошников был транспортирован в бокс, у доктора Майзеля произошел тяжелый приступ стенокардии. Лишь повторные инъекции камфары и прием жидкого нитроглицерина ликвидировали к ночи спазм сосудов. Приступ был, очевидно, вызван нервным возбуждением, непосильной перегрузкой больного сердца.

Дежурившая возле Шапошникова медицинская сестра Терентьева, согласно указанию, следила за состоянием лейтенанта. В бокс зашла Клестова, проверила пульс у лежавшего в забытии лейтенанта. Состояние Шапошникова было удовлетворительным, доктор Клестова сказала сестре Терентьевой:

– Дал Майзель лейтенанту путевку в жизнь, а сам чуть не помер.

Сестра Терентьева ответила:

– Ох, если б только этот лейтенант Толя выкарабкался.

Шапошников дышал почти неслышно. Лицо его было неподвижно, тонкие руки и шея казались детскими, на бледной коже едва заметной тенью лежал загар, сохранившийся от полевых занятий и степных переходов. Состояние, в котором находился Шапошников, было средним между беспамятством и сном, – тяжелая одурь от непреодоленного действия наркоза и изнеможения душевных и физических сил.

Больной невнятно произносил отдельные слова и иногда целые фразы. Терентьевой показалось, что он сказал скороговоркой: «Хорошо, что ты меня не видела таким». После этого он лежал тихо, углы губ опустились, и казалось, что, находясь в беспамятстве, он плачет.

Около восьми часов вечера больной открыл глаза и внятно – медицинская сестра Терентьева обрадовалась и удивилась – попросил напиток. Сестра Терентьева сказала больному,

что пить ему нельзя, и добавила, что операция прошла превосходно и больного ждет выздоровление. Она спросила его о самочувствии, и он ответил, что боли в боку и в спине невелики.

Она вновь проверила его пульс и провела увлажненным полотенцем по его губам и по лбу.

В это время в палату зашел санитар Медведев и передал, что сестру Терентьеву вызывает по телефону начальник хирургического отделения военврач Платонов. Сестра Терентьева зашла в комнату дежурного по этажу и, взяв трубку, доложила военврачу Платонову, что больной проснулся, состояние у него обычное для перенесшего тяжелую операцию.

Сестра Терентьева попросила сменить ее, – ей необходимо пойти в городской военный комиссариат в связи с путаницей, возникшей при переадресовке денежного аттестата, выданного ей мужем. Военврач Платонов обещал отпустить ее, но велел наблюдать Шапошникова до того, как Платонов сам осмотрит его.

Сестра Терентьева вернулась в палату. Больной лежал в той же позе, в какой она оставила его, но выражение страдания не так резко выступало на его лице – углы губ приподнялись, и лицо казалось спокойным, улыбающимся. Постоянное выражение страдания, видимо, старило лицо Шапошникова, и сейчас, улыбающееся, оно поразило сестру Терентьеву, – худые щеки, немного оттопыренные, полные бледные губы, высокий, без единой морщинки лоб, казалось, принадлежали не взрослому человеку, даже не отроку, а ребенку. Сестра Терентьева спросила о самочувствии больного, но он не ответил, – очевидно, заснул.

Сестру Терентьеву несколько насторожило выражение его лица. Она взяла лейтенанта Шапошникова за руку, – пульс не прощупывался, рука была чуть теплой от того неживого, едва ощутимого тепла, которое хранят в себе по утрам топлённые накануне и давно уже прогоревшие печи.

И хотя медицинская сестра Терентьева всю жизнь прожила в городе, она, опустившись на колени, тихонько, чтобы не тревожить живых, завывала по-деревенски:

– Родименький наш, цветочек ты наш, куда ты ушел от нас?

30

В госпитале стало известно о приезде матери лейтенанта Шапошникова. Мать умершего лейтенанта принял комиссар госпиталя, батальонный комиссар Шиманский. Шиманский, красивый человек, с выговором, свидетельствующим о его польском происхождении, хмурился, ожидая Людмилу Николаевну, – ему казались неизбежными ее слезы, может быть, обморок. Он облизывал языком недавно выращенные усы, жалел умершего лейтенанта, жалел его мать и поэтому сердился и на лейтенанта, и на его мать, – если устраивать прием для мамыши каждого умершего лейтенанта, где наберешься нервов?

Усадив Людмилу Николаевну, Шиманский, прежде чем начать разговор, пододвинул к ней графин с водой, и она сказала:

– Благодарю вас, я не хочу пить.

Она выслушала его рассказ о консилиуме, предшествовавшем операции (батальонный комиссар не считал нужным говорить ей о том, что один голос был против операции), о трудностях операции и о том, что операция прошла хорошо; хирурги считают, что эту операцию следует применять при тяжелых ранениях, подобных тем, что получил лейтенант Шапошников. Он сказал, что смерть Шапошникова наступила от паралича сердца, и как показано в заключении патологоанатома, военврача третьего ранга Болдырева, предвидение и устранение этого внезапного экзитуза было вне власти врачей.

Затем батальонный комиссар заговорил о том, что через госпиталь проходят сотни больных, но редко кого так любил персонал, как лейтенанта Шапошникова, – сознательный, культурный и застенчивый больной, всегда совестился попросить о чем-нибудь, утруждать персонал.

Шиманский сказал, что мать должна гордиться, воспитав сына, беззаветно и честно отдавшего жизнь за Родину.

Затем Шиманский спросил, есть ли у нее просьбы к командованию госпиталя.

Людмила Николаевна попросила извинить, что она отнимает время у комиссара, и, вынув из сумки листок бумаги, стала читать свои просьбы.

Она попросила указать ей место захоронения сына.

Батальонный молча кивнул и пометил в блокноте.

Она хотела поговорить с доктором Майзелем.

Батальонный комиссар сказал, что доктор Майзель, узнав о ее приезде, сам хотел встретиться с ней.

Она попросила встречи с медицинской сестрой Терентьевой.

Комиссар кивнул и сделал пометочку у себя в блокноте. Она попросила разрешения получить на память вещи сына.

Снова комиссар сделал пометку.

Потом она попросила передать раненым привезенные ею для сына гостинцы и положила на стол две коробки шпрот, пакетик конфет.

Ее глаза встретились с глазами комиссара, и он невольно сощурился от блеска ее больших голубых глаз.

Шиманский попросил Людмилу прийти в госпиталь на следующий день в девять тридцать утра, – все ее просьбы будут выполнены.

Батальонный комиссар посмотрел на закрывшуюся дверь, посмотрел на подарки, которые Шапошникова передала раненым, пощупал пульс у себя на руке, не нашел пульса, махнул рукой и стал пить воду, которую предложил в начале беседы Людмиле Николаевне.

31

Казалось, нет у Людмилы Николаевны свободной минуты. Ночью она ходила по улицам, сидела на скамейке в городском саду, заходила на вокзал греться, снова ходила по пустынным улицам скорым, деловым шагом.

Шиманский выполнил все, о чем она просила.

В девять часов тридцать минут утра Людмилу Николаевну встретила медицинская сестра Терентьева.

Людмила Николаевна просила ее рассказать все, что она знала о Толе.

Вместе с Терентьевой Людмила Николаевна, надев халат, поднялась на второй этаж, прошла коридором, по которому несли ее сына в операционную, постояла у двери однокоечной палаты-бокса, поглядела на пустовавшую в это утро койку. Сестра Терентьева шла все время рядом с ней и вытирала нос платком. Они снова спустились на первый этаж, и Терентьева простилась с ней. Вскоре в приемную комнату, тяжело дыша, вошел седой, тучный человек с темными кругами под темными глазами. Накрахмаленный, ослепительный халат хирурга Майзеля казался еще белее по сравнению с его смуглым лицом, темными вытаращенными глазами.

Майзель рассказал Людмиле Николаевне, почему профессор Родионов был против операции. Он, казалось, угадывал все, о чем хотела спросить его Людмила Николаевна. Он рассказал ей о своих разговорах с лейтенантом Толей перед операцией. Понимая состояние Людмилы, он с жестокой прямоотой рассказал о ходе операции.

Потом он заговорил о том, что у него к лейтенанту Толе была какая-то почти отцовская нежность, и в басовитом голосе хирурга тоненько, жалостно задребезжало стекло. Она посмотрела впервые на его руки, они были особенные, жили отдельно от человека с жалобными глазами, – суровые, тяжелые, с большими, сильными смуглыми пальцами.

Майзель снял руки со стола.словно читая ее мысль, он проговорил:

– Я сделал все возможное, но получилось, что мои руки приблизили его смерть, а не поборол ее, – и снова положил руки на стол.

Она понимала, что все сказанное Майзелем – правда.

Каждое его слово о Толе, страстно ею желаемое, мучило и жгло. Но разговор имел в себе еще одну томительную тяжесть, – она чувствовала, что хирург хотел встречи с ней не ради нее, а ради себя. И это вызывало в ней нехорошее чувство к Майзелю.

Прощаясь с хирургом, она сказала, что верит, – он сделал все возможное для спасения ее сына. Он тяжело задышал, и она ощутила, что слова ее принесли ему облегчение, и вновь поняла, что, чувствуя свое право услышать от нее эти слова, он и хотел с ней встречи и встретился с ней.

И она с упреком подумала: «Неужели от меня надо еще получать утешение?»

Хирург ушел, а Людмила пошла к человеку в папаше, коменданту. Он отдал ей честь, сипло доложил, что комиссар велел отвезти ее к месту захоронения на легковой машине, машина задержалась на десять минут из-за того, что отвозили в карточное бюро список вольнонаемных. Вещи лейтенанта уже уложены, их удобней будет взять после возвращения с кладбища.

Все, о чем просила Людмила Николаевна, было выполнено по-военному, четко и точно. Но в отношении к ней комиссара, сестры, коменданта чувствовалось, что и эти люди хотят от нее получить какое-то успокоение, прощение, утешение.

Комиссар почувствовал свою вину за то, что в госпитале умирают люди. До приезда Шапошниковой его это не тревожило, – на то и госпиталь во время войны. Постановка медицинского обслуживания не вызывала нареканий у начальства. Его жучили за недостаточную организацию политической работы, за плохую информацию о настроениях раненых.

Он недостаточно боролся с неверием в победу среди части раненых, с вражескими вылазками среди отсталой части раненых, враждебно настроенных к колхозному строю. В госпитале имелись случаи разглашения ранеными военной тайны.

Шиманского вызывали в политотдел санитарного управления военного округа и посулили отправить его на фронт, если из особого отдела опять сообщат о беспорядках в госпитальной идеологии.

А теперь комиссар почувствовал себя виноватым перед матерью умершего лейтенанта за то, что вчера умерло трое больных, а он вчера принимал душ, заказал повару свой любимый бигос из тушеной кислой капусты, выпил бидончик пива, добытый в саратовском горторге. Сестра Терентьева была виновата перед матерью умершего лейтенанта в том, что муж ее, военный инженер, служил в штабе армии, на передовой не бывал, а сын, который на год старше Шапошникова, работал на авиационном заводе в конструкторском бюро. И комендант знал свою вину, – он, кадровый военный, служил в тыловом госпитале, он послал домой хороший габардиновый материал и фетровые валенки, а от убитого лейтенанта осталось матери бумажное обмундирование.

И толстогубый старшина с мясистыми налитыми ушами, ведавший захоронением умерших больных, чувствовал свою вину перед женщиной, с которой поехал на кладбище. Гробы сбивались из тонких, бракованных досок. Умершие клались в гробы в нижнем белье, рядовых клали тесно, в братские могилы, надписи на могилах делались некрасивым почерком, на неотесанных дощечках, писались они непрочной краской. Правда, умерших в дивизионных медсанбатах закапывали в ямы без гробов, а надписи делали чернильным карандашом, до первого дождя. А те, что погибли в бою, в лесах, болотах, в овражках, в чистом поле, – тех, случалось, и не находили похоронщики, их хоронил песок, сухой лист, метель.

Но старшина все же чувствовал свою вину за низкое качество лесоматериалов перед женщиной, сидевшей с ним рядом в машине и выспрашивавшей его, как хоронят умерших, – вместе ли, во что обряжают трупы, говорят ли последнее слово над могилой.

Неудобно было и оттого, что перед поездкой он забежал к дружку в каптерку и выпил баночку разбавленного медицинского спиртишки, закусил хлебцем с луковкой. Он совестился, что в машине стоит от его дыхания водочный дух с цибульной примесью, но как он ни совестился, а отказаться от того, чтобы дышать, не мог.

Он хмуро смотрел в зеркальце, висевшее перед водителем машины, – в этом четырехугольном зеркальце отражались смеющиеся, смущавшие старшину глаза водителя.

«Ну и нажрался, старшина», – говорили безжалостно веселые молодые глаза водителя.

Все люди виноваты перед матерью, потерявшей на войне сына, и тщетно пробуют оправдаться перед ней на протяжении истории человечества.

32

Бойцы трудового батальона сгружали с грузовика гробы. В их молчаливой неторопливости видна была трудовая, привычная сноровка. Один, стоя в кузове грузовика, пододвигал гроб к краю, другой принимал его на плечо и заносил в воздухе, тогда молча подходил третий и принимал второй край гроба на плечо. Скрипя ботинками по замерзшей земле, они несли гробы к широкой братской могиле, поставив гроб у края ямы, возвращались к грузовику. Когда пустой грузовик ушел в город, бойцы присели на гробы, стоявшие у открытой могилы, и стали сворачивать папиросы из большого количества бумаги и малого количества табака.

– Сегодня вроде посвободней, – сказал один и стал высекать огонь из добротного сложенного огнива, – трут в виде шнура был пропущен в медную гильзу, а кремь вправлен в оправу. Боец помахал трутом, и дымок повис в воздухе.

– Старшина говорил, больше одной машины не будет, – сказал второй и прикурил, выпустил много дыма.

– Тогда и оформим могилу.

– Ясно, сразу удобней, и список он привезет, проверит, – проговорил третий, не куривший, вынул из кармана кусок хлеба, встряхнул его, легонько обдул и стал жевать.

– Ты скажи старшине, пусть лом нам даст, а то на четверть почти прихватило землю морозом, завтра нам новую готовить, лопатой такую землю возьмешь разве?

Тот, что добывал огонь, гулко ударив ладонями, выбил из деревянного мундштука окур, легонько постучал мундштуком о крышку гроба.

Все трое замолчали, словно прислушиваясь. Было тихо.

– Верно, будто трудовым батальонам сухим пайком выдавать обед будут? – спросил жевавший хлеб боец, понизив голос, чтобы не мешать покойникам в гробах неинтересным для них разговором.

Второй курец, выдув окур из длинного закопченного тростникового мундштука, посмотрел в него на свет, покачал головой.

Снова было тихо...

– Денек сегодня ничего, вот только ветер.

– Слышь, машина пришла, так-то мы до обеда отделаемся.

– Нет, это не наша, это легковик.

Из машины вышел знакомый им старшина, за ним женщина в платке, и пошли в сторону чугунной ограды, где до прошлой недели производили захоронения, а потом перестали из-за отсутствия места.

– Хоронят силу, а никто не провожает, – сказал один. – В мирное время тут знаешь как – один гроб, а за ним, может, сто человек цветочки несут.

– Плачут и по этим, – и боец толстым овальным ногтем, обточенным трудом, как галька морем, деликатно постучал по доске. – Только нам этих слез не видно... Гляди, старшина один вертается.

Они снова стали закуривать, на этот раз все трое. Старшина подошел к ним, добродушно сказал:

– Все курим, ребята, а кто же за нас поработает?

Они молча выпустили три дымовых облака, потом один, обладатель кресала, проговорил:

– Покуришь тут, слышь, грузовик подходит. Я его уж по мотору признаю.

33

Людмила Николаевна подошла к могильному холмику и прочла на фанерной дощечке имя своего сына и его воинское звание.

Она ясно ощутила, что волосы ее под платком стали шевелиться, чьи-то холодные пальцы перебирали их.

Рядом, вправо и влево, вплоть до ограды, широко стояли такие же серые холмики, без травы, без цветов, с одним только стрелнувшим из могильной земли прямым деревянным стебельком. На конце этого стебелька имелась фанерка с именем человека. Фанерок было много, и их однообразие и густота напоминали строй щедро взошедших на поле зерновых...

Вот она наконец нашла Толю. Много раз она старалась угадать, где он, что он делает и о чем думает, – дремлет ли ее маленький, прислонившись к стенке окопа, идет ли по дороге, прихлебывает чай, держа в одной руке кружку, в другой кусочек сахара, бежит ли по полю под обстрелом... Ей хотелось быть рядом, она была нужна ему, – она бы долила чаю в кружку, сказала бы «съешь еще хлеба», она бы разула его и обмыла натертую ногу, обмотала бы ему шею шарфом... И каждый раз он исчезал, и она не могла найти его. И вот она нашла Толю, но она уже не нужна была ему.

Дальше видны были могилы с дореволюционными гранитными крестами. Могильные камни стояли, как толпа стариков, никому не нужных, для всех безразличных, – одни повалились набок, другие беспомощно прислонились к стволам деревьев.

Казалось, небо стало какое-то безвоздушное, словно откачали из него воздух, и над головой стояла наполненная сухой пылью пустота. А беззвучный могучий насос, откачавший из неба воздух, все работал, работал, и уже не стало для Людмилы не только неба, но и не стало веры и надежды, – в огромной безвоздушной пустоте остался лишь маленький, в серых смерзшихся комьях, холм земли.

Все живое – мать, Надя, глаза Виктора, военные сводки, – все перестало существовать.

Живое стало неживым. Живым во всем мире был лишь Толя. Но какая тишина стояла кругом. Знает ли он уже, что она пришла...

Людмила опустила на колени, легонько, чтобы не причинить сыну беспокойства, поправила дощечку с его именем, он всегда сердился, когда она поправляла воротничок его куртки, провожая его на занятия.

– Вот я пришла, а ты, верно, думал, что это мама не идет...

Она заговорила вполголоса, боясь, что ее услышат люди за кладбищенской оградой.

По шоссе неслись грузовики, темная гранитовая поземка кружилась, дымясь, по асфальту, кудрявясь, завиваясь... Шли, гремя солдатскими сапогами, молочницы с бидонами, люди с мешками, бежали школьники в ватниках и в зимних солдатских шапках.

Но полный движения день казался ей туманным видением.

Какая тишина.

Она говорила с сыном, вспоминала подробности его прошедшей жизни, и эти воспоминания, существовавшие лишь в ее сознании, заполняли пространство детским голосом, слезами, шелестом книг с картинками, стуком ложечки о край белой тарелки, жужжанием самодельных радиоприемников, скрипом лыж, скрипом лодочных уключин на дачных прудах, шорохом конфетных бумажек, мельканием мальчишеского лица, плеч и груди.

Его слезы, огорчения, его хорошие и плохие поступки, оживленные ее отчаянием, существовали, выпуклые, осязаемые.

Не воспоминания об ушедшем, а волнения действительной жизни охватили ее.

Зачем читать всю ночь при этом ужасном свете, что ж это, в такие молодые годы начать носить очки...

Вот он лежит в легонькой бязевой рубаше, босой, как же не дали одеяла, земля совершенно ледяная, и по ночам сильный мороз.

Неожиданно у Людмилы хлынула носом кровь. Платок сделался тяжелый, весь вымок. У нее закружилась голова, в глазах помутилось, и короткое мгновение казалось, что она теряет сознание. Она зажмурила глаза, а когда открыла их, мир, оживленный ее страданием, уже исчез, лишь серая пыль, подхваченная ветром, кружилась над могилами: то одна, то другая могила начинали дымиться.

Живая вода, что хлынула поверх льда и вынесла из тьмы Толю, сбежала, исчезла, вновь отодвинулся тот мир, который на миг, сбив оковы, сам хотел стать действительностью, мир, созданный отчаянием матери. Ее отчаяние, подобно Богу, подняло лейтенанта из могилы, заполнило пустоту новыми звездами.

В эти прошедшие минуты он один жил на свете, и благодаря ему было все остальное.

Но могучая сила матери не удержала огромные людские толпы, моря, дороги, землю, города в подчинении перед мертвым Толей.

Она поднесла платок к глазам, глаза были сухи, а платок мокрый от крови. Она ощущала, что лицо у нее запачкано в липкой крови, и сидела, ссутулясь, смирясь, не по своей воле делая маленькие, первые движения к осознанию того, что Толи нет.

Людей в госпитале поражало ее спокойствие, ее вопросы. Они не понимали, что она не могла ощутить того, что было им очевидно, – отсутствие Толи среди живущих. Ее чувство к сыну было таким сильным, что мощь совершившегося ничего не могла поделать с этим чувством, – он продолжал жить.

Она была безумна, никто не видел этого. Наконец она нашла Толю. Так кошка, найдя своего мертвого котенка, радуется, облизывает его.

Долгие муки проходит душа, пока годами, иногда десятилетиями, камень за камнем, медленно воздвигает свой могильный холмик, сама в себе приходит к чувству вечной потери, смиряется перед силой произошедшего.

Ушли, закончив работу, бойцы трудового батальона, собралось уходить солнце, и тени от могильных фанерок вытянулись. Людмила осталась одна.

Она подумала, что о смерти Толи надо сообщить родным, отцу в лагерь. Обязательно отцу. Родному отцу. О чем он думал перед операцией? Как его кормили, с ложечки? Спал ли он хоть немножко, на боку, на спине? Он любит воду с лимоном и сахаром. Каким лежит он сейчас, бритая ли у него голова?

Должно быть, от нестерпимой душевной боли кругом делалось все темней и темней.

Ее поразила мысль о вечности ее горя – умрет Виктор, умрут внуки ее дочери, а она все будет горевать.

И когда чувство тоски стало так невыносимо, что сердце не могло выдержать ее, снова растворилась грань между действительностью и миром, жившим в душе Людмилы, и вечность отступила перед ее любовью.

Зачем, подумала она, сообщать о смерти Толи родному отцу, Виктору, всем близким, ведь еще ничего не известно на верное. Лучше выждать, может быть, все еще будет совершенно по-иному.

Она шепотом сказала:

– И ты никому не говори, еще ничего не известно, все еще будет хорошо.

Людмила прикрыла полую пальто Толины ноги. Она сняла платок с головы и прикрыла им плечи сына.

– Господи, да нельзя же так, почему не дали одеяла. Хоть ноги получше закрой.

Она забылась, в полусне продолжала говорить с сыном, упрекала его за то, что письма его такие короткие. Она просыпалась, поправляла на нем сброшенный ветром платок.

Как хорошо, что они вдвоем, никто не мешает им. Его никто не любил. Все говорили, что он некрасив, – у него оттопыренные толстые губы, он странно ведет себя, бессмысленно вспыльчив, обидчив. И ее никто не любил, все близкие видели в ней одни лишь недостатки... Мой бедный мальчик, робкий, неуклюжий, хороший сыночек... Он один любил ее, и теперь, ночью, на кладбище, он один с ней, он никогда не оставит ее, и когда она будет никому не нужной старухой, он будет любить ее... какой он не приспособленный к жизни. Никогда ни о чем не попросит, застенчивый, смешной; учительница говорит, что в школе он стал посмешищем, – его дразнят, выводят из себя, и он плачет, как маленький. Толя, Толя, не оставляй меня одну.

А затем пришел день, – красное, ледяное зарево разгоралось над заволжской степью. С ревом проехал грузовик по шоссе.

Безумие ушло. Она сидела рядом с могилой сына. Тело Толи засыпано землей. Его нет.

Она видела свои грязные пальцы, валявшийся на земле платок, у нее онемели ноги, она ощущала, что лицо ее запачкано. В горле першило.

Ей было все равно. Скажи ей кто-нибудь, что кончилась война, что умерла ее дочь, очутись рядом с ней стакан горячего молока, кусок теплого хлеба, она бы не шевельнулась, не протянула бы руки. Она сидела без тревоги, без мыслей. Все было безразлично, не нужно. Одна лишь ровная мука сжимала сердце, давила на виски. Люди из госпиталя, врач в белом халате что-то говорили о Толе, она видела их разевающиеся рты, но не слушала их слов. На земле лежало письмо, выпавшее из кармана пальто, то, что она получила из госпиталя, и ей не хотелось поднять его, стряхнуть с него пыль. Не было мыслей о том, как Толя двухлетним, косолапо переваливаясь, ходил терпеливо и настойчиво следом за кузнечиком, прыгавшим с места на место, и о том, что она не спросила сестру, как лежал он утром, перед операцией, в последний день своей жизни, – на боку, на спине. Она видела дневной свет, она не могла его не видеть.

Вдруг ей вспомнилось: Толе исполнилось три года, вечером пили чай со сладким пирогом, и он спросил: «Мама, почему темно, ведь сегодня день рождения?»

Она видела ветви деревьев, блещущий под солнцем полированный кладбищенский камень, дощечку с именем сына, – «Шапошн» было написано крупно, а «иков» лепилось мелко, буква к букве. Она не думала, у нее не было воли. Ничего у нее не было.

Она встала, подняла письмо, стряхнула заочеченными руками комки земли с пальто, очистила его, обтерла туфли, долго вытряхивала платок, пока он вновь не побелел. Она надела на голову платок, краешком его сняла пыль с бровей, обтерла губы, подбородок от пятен крови. Она пошла в сторону ворот, не оглядываясь, не медленно и не быстро.

34

После возвращения в Казань Людмила Николаевна начала худеть и стала похожа на свои молодые фотографии студенческой поры. Она добывала продукты в распределителе и готовила обед, топила печи, мыла полы, стирала. Ей казалось, что осенние дни очень длинные и ей нечем заполнить их пустоту.

В день приезда из Саратова она рассказала родным о своей поездке, о том, что думала о своей вине перед близкими людьми, рассказала о приходе в госпиталь, развернула пакет с изодранными осколками кровавым обмундированием сына. Когда она рассказывала, Александра Владимировна тяжело дышала, Надя плакала, у Виктора Павловича стали дрожать руки, он не мог взять со стола стакан чая. Прибегавшая навестить ее Марья Ивановна побледнела, рот ее полуоткрылся, и в глазах возникло мученическое выражение. Одна лишь Людмила говорила спокойно, глядя яркими, широко открытыми голубыми глазами.

Она теперь ни с кем не спорила, а всю жизнь была большой спорщицей; раньше стоило сказать кому-нибудь, как доехать до вокзала, и Людмила, волнуясь и сердясь, начинала доказывать, что совсем не по тем улицам и не теми троллейбусами надо ехать.

Однажды Виктор Павлович спросил ее:

– Людмила, с кем это ты по ночам разговариваешь?

Она сказала:

– Не знаю, может быть, померещилось что-нибудь.

Он не стал ее больше спрашивать, но рассказал Александре Владимировне, что почти каждую ночь Людмила раскрывает чемоданы, стелет одеяло на диванчик, стоящий в углу, озабоченно негромко говорит вслух.

– У меня такое чувство, словно она днем со мной, с Надей, с вами – во сне, а ночью у нее оживленный голос, какой был еще до войны, – сказал он. – Мне кажется, что она заболела, становится другим человеком.

– Не знаю, – сказала Александра Владимировна. – Все мы переживаем горе. Все одинаково и каждый по-своему.

Разговор их был прерван стуком в дверь. Виктор Павлович поднялся. Но Людмила Николаевна крикнула из кухни:

– Я открою.

Непонятно было, в чем дело, но домашние замечали, что после возвращения из Саратова Людмила Николаевна по несколько раз на день проверяла, – нет ли писем в почтовом ящике.

Когда же кто-нибудь стучался, она бросалась поспешно к двери.

И сейчас, слушая ее торопливые, почти бегущие шаги, Виктор Павлович и Александра Владимировна переглянулись.

Они услышали раздраженный голос Людмилы Николаевны:

– Нету, нету сегодня ничего, и не ходите так часто, я вам уже два дня назад дала полкило хлеба.

35

Лейтенанта Викторова вызвали в штаб к майору Закаблуке, командиру стоявшего в резерве истребительного летного полка. Дежурный по штабу лейтенант Великанов сказал, что майор улетел на «У-2» в штаб воздушной армии, в район Калинина, и вернется вечером. На вопрос Викторова, по поводу чего вызов, Великанов подмигнул, сказал, что, возможно, дело связано с пьянкой и скандалом в столовой.

Викторов заглянул за занавеску, сделанную из плащ-палатки и пристегнутого к ней ватного одеяла, – оттуда раздавался треск пишущей машинки. Напачкан Волконский, увидев Викторова, предупреждая его вопрос, проговорил:

– Нету, нету писем, товарищ лейтенант.

Машинистка, вольнонаемная Леночка, оглянувшись на лейтенанта, поглядела в трофейное зеркальце со сбитого немецкого самолета, подарок погибшего летчика Демидова, поправила пилотку, передвинула линейку, лежавшую на ведомости, которую она перепечатывала, и снова ударила по клавишам машинки.

Этот длинномордый лейтенант, задававший начканцу один и тот же унылый вопрос, навел на Леночку тоску.

Викторов, идя обратно на аэродром, свернул в сторону лесной опушки.

Вот уже месяц, как полк вышел из боев, пополнял матчасть, принимал взамен выбывшего летный состав.

Месяц назад необычным казался этот неведомый Викторovu северный край. Жизнь леса, молодой реки, гибко бегущей среди крутых холмов, запах прели, грибов, гудение деревьев, – тревожили его днем и ночью.

Во время полетов, казалось, земные запахи достигали кабины истребителя. Этот лес, озера дышали жизнью Древней Руси, о которой Викторov читал до войны. Здесь, среди озер, лесов лежали старинные дороги, из этого прямоствольного леса строились дома, церкви, обте-сывались корабельные мачты. Старина задумалась и притихла еще в те времена, когда бежал тут серый волк и плакала Аленушка на берегу, которым Викторov теперь ходил в столовую военторга. Ему казалось, что эта ушедшая старина какая-то наивная, простая, молодая, – и не только жившие в теремах девушки, но и седобородые купцы, дьяконы и патриархи на тысячу лет моложе житейски умудренных парней – летчиков из мира скоростных машин, автоматических пушек, дизелей, кино и радио, пришедших в эти леса с авиаполком майора Закаблуки. Знаком этой ушедшей молодости была Волга, быстрая, худенькая, в пестрых крутых берегах, в зелени леса, в голубых и красных цветных узорах...

Сколько их, лейтенантов, сержантов да и просто ребят без звания ходят по военной дороге. Курят они положенное им число папирос, стучат белой ложкой в жестяной миске, играют в вагоне в подкидного, в городе лакомятся мороженым на палочке, пьют, кашляя, свою малую долю стограммовых стопок, пишут положенное число писем, кричат в полевой телефон, стреляют, кто из мелкокалиберной пушчонки, кто бахнет из главного калибра, кто нажмет в танке-«тридцатьчетверке» на акселератор, крикнет что-нибудь такое...

Земля под сапогом скрипела и пружинила, как старый матрац, – это лежали листья, сверху легкие, хрупкие, отличные один от другого и в смерти, а под ними засохшие уж годы назад, соединенные в одну хрусткую слитную коричневую массу, – пепел от той жизни, что взрывала почки, шумела в грозу, блестела на солнце после дождей. Истлевший, почти невесомый хворост крошился под ногами. Тихий свет доходил до лесной земли, рассеянный лиственным абажуром. Воздух в лесу был застывший, густой, – это особенно ощущал привыкший к воздушным вихрям летчик-истребитель. Нагретое, потное дерево пахло сырой свежестью древесины. Но запах умерших деревьев и хвороста забивал запах живого леса. Там, где стояли ели,

в октаву врезалась высокая скипидарная нота. Осина пахла приторно сладко, горько дышала ольха. Лес жил отдельно от остального мира, и Викторову казалось, что он входит в дом, где все не так, как на улице: и запахи, и свет через спущенные занавески, и звуки по-иному раздавались в этих стенах, и пока не выйдешь из леса, все чувствуешь себя не по-обычному, как на малознакомых людях. Словно со дна, сквозь высокий, толстый слой лесного воздуха смотришь вверх, плещут листья, и кажется, что трескучая паутина, цепляющаяся за зеленую звездочку на пилотке, – это водоросли, взвешенные между поверхностью и дном водоема. Кажется, что быстрые толстоголовые мухи, и вялая мошкара, и тетерев, по-куриному продирающийся между ветвей, шевелят плавниками и никогда им не подняться над лесом, как не подняться рыбе выше поверхности воды; а если сорока вспорхнет над вершиной осины, то тотчас вновь нырнет меж ветвей, – рыба блеснула на мгновение белым боком на солнце и вновь плюхнулась в воду. И каким странным кажется мох в каплях росы, синих, зеленых, гаснущих в сумраке лесного дна.

Хорошо из этой тихой полутьмы вдруг выйти на светлую поляну, все сразу по-иному, – и теплая земля, и запах нагретого солнцем можжевельника, и подвижность воздуха, и поникшие большие колокольчики, отлитые из фиолетового металла, и цветы дикой гвоздики на липких смолистых стеблях. На душе становится беспечно, и поляна – как счастливый день в бедной жизни. Кажется, что бабочки-лимонницы, черно-синие отшлифованные жуки, муравьи, прошуршавшие в траве, уж не хлопочут каждый о себе, а все вместе работают одну общую работу. Коснулась лица березовая ветка, осыпанная мелкими листьями; кузнечик подпрыгнул, угодил об человека, как об древесный ствол, уцепился за его поясной ремень, не торопясь напруживает зеленые ляжки, сидит с круглыми кожаными глазами, с литой бараньей мордой. Тепло, запоздалые цветы земляники, горячие от солнца пуговицы и пряжка поясного ремня. Наверное, над этой поляной никогда не пролетал ни «Ю-88», ни ночной «хейнкель».

36

Часто ночью он вспоминал месяцы, проведенные в сталинградском госпитале. Он не помнил мокрой от пота рубахи, солоноватой, вызывавшей тошноту воды, не помнил тяжелого запаха, мучившего его. Эти госпитальные дни представлялись ему счастьем. И здесь, в лесу, прислушиваясь к гулу деревьев, он думал: «Неужели я слышал ее шаги?»

Неужели это было? Она обнимала его, гладила его волосы, она плакала, и он целовал ее мокрые, соленые глаза.

Иногда Виктор думал о том, как на «яке» доберется до Сталинграда, всего ведь несколько часов, – в Рязани можно зарядиться, потом дойти до Энгельса, там у него знакомый парень работает ответственным дежурным. Ну, пусть потом расстреляют.

Ему все вспоминалась прочитанная в старой книге история: братья, богачи Шереметьевы, сыновья фельдмаршала, выдали замуж свою шестнадцатилетнюю сестру за князя Долгорукого, девочка до свадьбы, кажется, один только раз и видела его. Братья дали за невестой огромное приданое, дареное серебро уместилось в трех комнатах. А через два дня после свадьбы умер Петр II. Долгорукого, его приближенного, схватили и увезли на север, заперли в деревянную башню. Молодая жена не послушалась уговоров, – ей можно было освободиться от этого брака, ведь девочка всего два дня прожила с ним. Она поехала за мужем, поселилась в лесном глухом краю, в деревенской избе. Каждый день в течение десяти лет ходила она к башне, где сидел Долгорукий. Однажды утром она увидела: окошко в башне настезь, дверь не заперта. Молодая княгиня побежала по улице, падала на колени перед каждым встречным, кто бы он ни был, – мужик, стрелец, молила, спрашивала, где муж ее. Люди сказали ей, что Долгорукого увезли в Нижний Новгород. Много перетерпела она в тяжелом пешем пути. А в Нижнем она узнала, что Долгорукий четвертован. Тогда Долгорукая решила уйти в монастырь, поехала в Киев. В день пострига она долго ходила по берегу Днепра. Но не о воле жалела Долгорукая, надо было ей, принимая монашество, снять с пальца обручальное кольцо, и не могла с ним расстаться... Много часов ходила она по берегу, а потом, когда солнце стало садиться, сняла с пальца кольцо, кинула его в Днепр и пошла к монастырским воротам.

И лейтенанту воздушных сил, воспитаннику детдома, слесарю в механической мастерской СталГРЭСа все вспоминалась жизнь княгини Долгорукой. Он шел лесом, и ему представлялось: вот уж нет его, закопали, и подкопченный фрицем самолет, ушедший носом в землю, проржавел, рассыпался, зарос травой, и по этим местам ходит Вера Шапошникова – остановится, спустится по обрыву к Волге, глядит на воду... А двести лет назад ходила здесь молодая Долгорукая – выйдет на поляну, пройдет среди льна, раздвинет руками осыпанные красными ягодами кусты. И больно ему делалось, и горько, и безнадежно, и сладко.

Идет лесом узкоплечий лейтенантик в старенькой гимнастерке, – сколько их забыто в незабываемое время.

37

Викторов, еще подходя к аэродрому, понял, что произошли какие-то важные события. Машины «бэзэ»⁴ разъезжали по летному полю, техники, мотористы из батальона аэродромного обслуживания сустились около самолетов, стоявших под маскирующими их сетками. Обычно молчаливый движок рации стучал четко и сосредоточенно.

«Ясно», – подумал Викторов, ускоряя шаги.

И тут же все подтвердилось, ему встретился лейтенант Соломатин с розовыми пятнами ожога на скуле и сказал:

– Выходим из резерва, есть приказ.

– К фронту? – спросил Викторов.

– А куда, к Ташкенту? – спросил Соломатин и пошел в сторону деревни.

Он, видимо, был расстроен: у него завязалось серьезное дело с хозяйкой по квартире, и сейчас он, должно быть, спешил к ней.

– Делиться будет Соломатин: избу бабе, корову себе, – проговорил рядом с Викторовым знакомый голос. Это шел по тропинке лейтенант Еремин, с которым Викторов ходил в паре.

– Куда нас, Ерема? – спросил Викторов.

– Может, Северо-Западный пойдет в наступление. Сейчас командир дивизии на «Эр»-«пятом» пришел. У меня пилот знакомый на «дугласе» в штабе Воздушной, можно спросить. Он все знает.

– Чего спрашивать, скажут сами.

А тревога уже охватила не только штаб и летчиков на аэродроме, но и деревню. Черноголазый, пухлогубый младший лейтенант Король, самый молодой летчик в полку, нес по улице постиранное и отглаженное белье, поверх белья лежала коврижка и узелок сухих ягод.

Над Королем подшучивали, что хозяйки – две вдовы старухи – баловали его коврижками. Когда он уходил на задания, старухи шли к аэродрому, встречали его на полпути – одна высокая, прямая, другая с согнутой спиной, – он шел между ними, злой, смущенный, избалованный мальчик, и летчики говорили, что Король ходит в звене с восклицательным и вопросительным знаками.

Командир эскадрильи Ваня Мартынов вышел из дома в шинели, неся в одной руке чемоданчик, в другой парадную фуражку, которую, боясь помять, не вкладывал в чемодан. Рыжая хозяйская дочь без платка, с самодельной завивкой смотрела ему вслед таким взором, что уж лишним было бы рассказывать и о ней и о нем.

Хроменький мальчик отпраповал Викторову, что политрук Голуб и лейтенант Ваня Скотной, с которыми он вместе квартировал, ушли с вещами.

Викторов перебрался на эту квартиру несколько дней назад, до этого он жил с Голубом у плохой хозяйки, женщины с высоким выпуклым лбом и с выпуклыми желтыми глазами, – посмотрев в эти глаза, человеку делалось не по себе.

Чтобы избавиться от постояльцев, она напускала в избу дыма, а однажды подсыпала им золы в чай. Голуб уговаривал Викторова написать рапорт об этой хозяйке комиссару полка, но Викторов не хотел писать рапорта.

– Хай ее холера задушит, – согласился Голуб и добавил слова, которые слышал от матери, еще мальчиком: – До нашего берега що пристанет – як не гивно, то триска.

Они перебрались на новую квартиру, она показалась им раем. Но вот в раю побыть пришлось недолго.

⁴ Бензозаправщики.

Вскоре и Виктор с вещевым мешком и продавленным чемоданчиком шел мимо высоких, словно двухэтажных, серых изб, хромой мальчик прыгал рядом, нацеливаясь подаренной ему Викторovich трофейной кобурой в кур, в кружащие над лесом самолеты. Он прошел мимо избы, откуда Евдокия Михеевна выкуривала его дымом, и увидел за мутным стеклом ее неподвижное лицо. Никто не заговаривал с ней, когда она, неся от колодца два деревянных ведра, останавливалась передохнуть. Не было у нее ни коровы, ни овцы, ни стрижей под крышей. Голуб расспрашивал о ней, пытался выявить ее кулацкую родословную, но оказалось, что она из бедняцкой семьи. Женщины говорили, что после смерти мужа она словно помешалась: забралась в холодное осеннее время в озеро и просидела в нем сутки. Мужики ее силой вытаскивали оттуда. Но, говорили женщины, она и до смерти мужа, и до замужества была неразговорчива.

Вот идет Виктор по улице лесной деревни, и через несколько часов он улетит навсегда отсюда, и все это – гудящий лес, деревня, где лоси заходят на огороды, папоротник, желтые натеки смолы, река, кукушки – перестанет для него существовать. Исчезнут старики, девчонки, разговоры о том, как проводили коллективизацию, рассказы о медведях, отнимавших у баб лукошки с малиной, о мальчишках, наступавших голой пяткой на гадючьи головки... Исчезнет эта деревня, странная для него и необычная, вся обращенная к лесу, как был обращен к заводу рабочий поселок, где он родился и вырос.

А потом истребитель приземлится, и вмиг возникнет, станет новый аэродром, сельский или заводской поселок со своими старухами, девчонками, со своими слезами и шутками, котами с лысыми от шрамов носами, со своими рассказами о прошлом, о сплошной коллективизации, со своими плохими и хорошими квартирными хозяйками.

И красавец Соломатин на новом положении в свободную минутку наденет фуражку, пройдет по улице, споет под гитару и сведет с ума девчонку.

Командир полка майор Закаблука с бронзовым лицом и бритым белым черепом, гремя пятью орденами Красного Знамени, переминаясь на кривых ногах, зачитал летчикам приказ о выходе из резерва, сказал, что ночевать приказывает в блиндажах и что порядок следования будет объявлен перед вылетом на аэродроме.

Затем он сказал, что отлучаться из аэродромных блиндажей командование запрещает и с нарушителями шуток не будет.

– Щоб мне не спали в воздухе, а хорошо выспались пэрэд полетом, – объяснил он.

Заговорил комиссар полка Берман, которого не любили за высокомерие, хотя он умел толково и красиво говорить о тонкостях летного дела. Особенно плохо стали относиться к Берману после случая с летчиком Мухиным. У Мухина завязалась любовная история с красивой радисткой Лидой Войновой. Их роман всем нравился, – едва была свободная минута, они встречались, ходили гулять к реке и шли, всегда взявшись за руки. Над ними даже не смеялись, так уже все было ясно в их отношениях.

И вдруг пошел слух, и шел этот слух от самой Лиды, она рассказала подруге, а от подруги пошло по полку, – во время очередной прогулки Мухин изнасиловал Войнову, угрожал ей огнестрельным оружием.

Берман, узнав об этом деле, разъярился и проявил столько энергии, что в течение десяти дней Мухин был судим трибуналом и приговорен к расстрелу.

Перед исполнением приговора в полк прилетел член Военного совета Воздушной армии, генерал-майор авиации Алексеев, и стал выяснять обстоятельства мухинского преступления. Лида вогнала генерала в полное смущение, стала перед ним на колени, умоляла поверить, что все дело против Мухина – нелепая ложь.

Она рассказала ему всю историю, – они лежали с Мухиным на лесной поляне, целовались, потом она задремала, и Мухин, желая подшутить над ней, незаметно просунул ей между колен револьвер, выстрелил в землю. Она проснулась, вскрикнула, и Мухин снова стал с ней

целоваться. А уж в передаче, шедшей от подруги, которой Лида все это рассказала, дело выглядело совсем жутко. Правда во всей истории была лишь одна, необычайно простая, – ее любовь с Мухиным. Все разрешилось благополучно, приговор отменили, Мухина перевели в другой полк.

Вот с тех пор летчики не любили Бермана.

Как-то в столовой Соломатин сказал, что русский человек так бы не поступил.

Кто-то из летчиков, кажется, Молчанов, ответил, что есть плохие люди среди всех наций.

– Вот возьми Короля, еврей, а с ним в паре хорошо ходить. Идешь на задание и знаешь – в хвосте сидит такой друг, в котором уверен, – сказал Ваня Скотной.

– Ну какой же Король еврей? – сказал Соломатин. – Король – это свой парень, я в нем в воздухе уверен больше, чем в себе. Он у меня над Ржевом «мессера» из-под самого хвоста вымел. И я два раза бросал несчастного, подбитого фрица из-за Борьки Короля. А знаешь сам, я забываю мать родную, когда в бой иду.

– Тогда как же получается, – сказал Виктор, – если еврей хороший, ты говоришь – он не еврей.

Все рассмеялись, а Соломатин сказал:

– Ладно, а вот Мухину смешно не было, когда ему Берман расстрел пришил.

В это время в столовую вошел Король, и кто-то из летчиков его участливо спросил:

– Слушай, Боря, ты еврей?

Король смутился и ответил:

– Да, еврей.

– Это точно?

– Вполне точно.

– Обрезанный?

– Да ну тебя к черту, – ответил Король. Все стали снова смеяться.

А когда летчики шли с аэродрома в деревню, Соломатин пошел рядом с Викторовым.

– Знаешь, – сказал он, – ты напрасно речи произносил. Когда я работал на мыловаренном заводе, у нас жидов полно было, – все начальство; посмотрелся я на этих самуилов абрамовичей, – и уж один за другого, круговая порука, будь уверен.

– Да что ты пристал, – пожал плечами Виктор, – что ты меня к ним в коллегии записываешь?

Берман заговорил о том, что в жизни летного состава открывается новая эра, кончилась жизнь в резерве. Это все понимали и без него, но слушали со вниманием, не проскользнет ли в его речи намек, – останется ли полк на Северо-Западном фронте и лишь переведут его под Ржев, перебросят ли на запад, на юг?

Берман говорил:

– Итак, у боевого летчика качество первое – знать матчасть, знать так, чтобы играть ею; второе – любовь к своей машине, любить ее, как сестру, как мать; третье – смелость, а смелость – это холодный ум и горячее сердце. Четвертое – чувство товарищества, оно воспитывается всей нашей советской жизнью; пятое – беззаветность в бою! Успех – в слетанности пар! Следи за ведущим! Настоящий летчик и на земле всегда думает, разбирает прошлый бой, прикидывает: «Эх, так бы лучше, эх, не так бы надо!»

Летчики с фальшивым выражением интереса глядели на комиссара и тихонько переговаривались.

– Может, на эскорт «дугласов», что везут продукты в Ленинград? – сказал Соломатин, у которого в Ленинграде была знакомая.

– На Московское направление? – сказал Молчанов, чьи родные жили в Кунцеве.

– А может, под Сталинград? – проговорил Виктор.

– Ну, это вряд ли, – сказал Скотной.

Ему было безразлично, куда бросят полк, – все близкие его находились на оккупированной Украине.

– А ты, Боря, куда летишь? – спросил Соломатин. – В свою еврейскую столицу, Бердичев?

Вдруг темные глаза Короля совсем потемнели от бешенства, и он внятно матерно выругался.

– Младший лейтенант Король! – крикнул комиссар.

– Слушаюсь, товарищ батальонный комиссар...

– Молчать...

Но Король уже и так молчал.

Майор Закаблука отличался как знаменитый знаток и любитель матерного слова и из-за того, что боевой летчик матюгнулся в присутствии начальства, не стал бы поднимать историю. Он сам каждое утро грозно кричал своему ординарцу: «Мазюкин... твою в бога, веру... – и совершенно мирно заканчивал: – Дай-ка мне полотенце».

Однако, зная клязный нрав комиссара, командир полка боялся тут же амнистировать Короля. Берман в рапорте описал бы, как Закаблука дискредитировал перед летным составом политическое руководство. Берман уже писал в политотдел, что Закаблука завел в резерве личное хозяйство, пил водку с начальником штаба и имел связь с зоотехником Женей Бондаревой из местного населения.

Поэтому командир полка начал издали. Он грозно, хрипло закричал:

– Как стоите, младший лейтенант Король? Два шага вперед! Что за разгильдяйство?

Потом он повел дело дальше.

– Политрук Голуб, доложите комиссару, по какой причине Король нарушил дисциплину.

– Разрешите доложить, товарищ майор, он поругался с Соломатиным, а почему, я не слышал.

– Старший лейтенант Соломатин!

– Есть, товарищ майор!

– Доложите. Не мне! Батальонному комиссару!

– Разрешите доложить, товарищ батальонный комиссар?

– Докладывайте, – кивнул Берман, не глядя на Соломатина. Он ощутил, что командир полка гнет какую-то свою линию. Он знал, что Закаблука отличался необычайной хитростью и на земле, и в воздухе, – там, наверху, он лучше всех умел быстро разгадать цель, тактику противника, перехитрить его хитрости. А на земле он знал, что сила начальства в слабостях, а слабость подчиненных в их силе. И он умел, когда нужно, и прикинуться, и казаться простачком, и угодливо хохотать над глупой остротой, сказанной глупым человеком. И он умел держать в руках отчаянных воздушных лейтенантов.

В резерве Закаблука проявил склонность к сельскому хозяйству, главным образом к животноводству и птицеводству. Он занимался и заготовками плодоягодных культур: устраивал наливки из малины, солил и сушил грибы. Его обеды славились, и командиры многих полков любили в свободные часы подскочить к нему на «У-2», выпить и закусить. Но майор не признавал пустого хлебосольства.

Берман знал еще одно свойство майора, делающее отношения с ним особенно трудными: расчетливый, осторожный и хитрый Закаблука был одновременно почти безумным человеком, идя напролом, уже не жалел своей жизни.

– С начальством спорить – все равно что ссать против ветра, – говорил он Берману и вдруг совершал безумный, идущий наперекор его же пользе поступок, комиссар только ахал.

Когда случалось им обоим находиться в хорошем настроении, они, разговаривая, подмигивали друг другу, похлопывали один другого по спине или по животу.

– Ох, и хитрый мужик у нас комиссар, – говорил Закаблука.

– Ох, и силен наш героический майор, – говорил Берман.

Закаблука не любил комиссара за елейность, за трудолюбие, с которым он вписывал в донесения каждое неосторожное слово; он высмеивал в Бермане его слабость к хорошеньким девочкам, его любовь к вареной курице – «дайте мне ножку» – и равнодушие к водке, он осуждал его безразличие к житейским обстоятельствам других людей и умение создать для самого себя сносные бытовые условия. Он ценил в Бермане ум, готовность пойти на конфликт с начальством ради пользы дела, храбрость, – иногда, казалось, Берман сам не понимал, как легко может потерять жизнь.

И вот эти два человека, собираясь вести на линию боев воздушный полк, искоса поглядывая друг на друга, слушали, что говорит лейтенант Соломатин.

– Я должен прямо сказать, товарищ батальонный комиссар, это по моей вине Король нарушил дисциплину. Я над ним подсмеивался, он терпел, а потом, конечно, забылся.

– Что вы ему сказали, отвечайте комиссару полка, – перебил Закаблука.

– Тут ребята гадали, куда полк пойдет, на какой фронт, а я Королю говорю: ты, наверно, в свою столицу, на Бердичев, хочешь?

Летчики поглядывали на Бермана.

– Не понимаю, в какую столицу? – сказал Берман и вдруг понял.

Он смутился, все почувствовали это, и особенно командира полка поразило, что это случилось с человеком, подобным лезвию опасной бритвы. Но дальнейшее тоже было удивительно.

– Ну что ж тут такого? – сказал Берман. – А если бы вы, Король, сказали Соломатину, который, как известно, происходит из села Дорохово Ново-Ружского района, что он хочет воевать над селом Дорохово, что ж, он должен был бить вас за это по морде? Странная местечковая этика, несовместимая со званием комсомольца.

Он говорил слова, которые всегда неотвратимо, с какой-то гипнотизирующей силой действовали на людей. Все понимали, что Соломатин хотел обидеть и обидел Короля, а Берман уверенно объяснял летчикам, что Король не изжил националистических предрассудков и его поведение есть пренебрежение дружбой народов. Ведь не надо Королю забывать, что именно фашисты используют националистические предрассудки, играют на них.

Все, что говорил Берман, само по себе было справедливо и верно. Революция, демократия родили идеи, о которых он говорил сейчас взволнованным голосом. Но сила Бермана в эти минуты заключалась в том, что не он служил идее, она служила ему, его сегодняшней нехорошей цели.

– Видите, товарищи, – сказал комиссар. – Там, где нет идейной ясности, нет и дисциплины. Этим и объясняется сегодняшний поступок Короля.

Он подумал и добавил:

– Безобразный поступок Короля, безобразное, несоветское поведение Короля.

Тут уж, конечно, Закаблука не мог вмешаться, проступок Короля комиссар связал с вопросом политическим, и Закаблука знал, что ни один строевой командир никогда не посмеет вмешаться в действия политических органов.

– Вот какое дело, товарищи, – сказал Берман и, помолчав некоторое время, чтобы увеличить впечатление от своих слов, закончил: – Ответственность за это безобразие ложится на непосредственного виновника, но она ложится и на меня, комиссара полка, не сумевшего помочь летчику Королю изжить в себе отсталое, отвратительное, националистическое. Вопрос серьезней, чем казалось мне вначале, поэтому я не буду сейчас наказывать Короля за совершенное им нарушение дисциплины. Но я принимаю на себя задачу перевоспитания младшего лейтенанта Короля.

Все зашевелились, поудобней усаживаясь, почувствовали: обошлось.

Король посмотрел на Бермана, и что-то было такое в его взгляде, отчего Берман поморщился, дернул плечом и отвернулся.

А вечером Соломатин сказал Викторову:

– Видишь, Леня, у них всегда так, – один за другого, шито-крыто; попался бы ты или Ваня Скотной на таком деле, – закатал бы, будь уверен, Берман в штрафное подразделение.

38

Вечером в блиндаже летчики не спали, лежа на нарах, курили и разговаривали. Скотной за ужином выпил прощальные граммы и напевал:

Машина в штопоре кружится,
Ревет, летит земле на грудь,
Не плачь, родная, успокойся,
Меня навеки позабудь.

Великанов все же не выдержал, проболтался, и стало известно, что полк перебазирован под Сталинград.

Луна поднялась над лесом, и беспокойное пятно засветлело меж деревьев. Деревня, расположенная в двух километрах от аэродрома, лежала словно в золе, темная, притихшая. Летчики, сидевшие у входа в блиндаж, оглядывали чудный мир земных ориентиров. Виктор смотрел на легкие лунные тени от крыльев и хвостов «яков», тихонько подпевал певцу:

И вынут нас из-под машины,
Поднявши на руки каркас,
Взовьются в небо ястребочки,
В последний путь проводят нас.

А те, что лежали на нарах, беседовали. Говоривших не было видно в полутьме, но они хорошо знали друг друга по голосу и, не называя имен, отвечали на вопросы и задавали вопросы.

– Демидов сам просился на задания, он без воздуха худел.

– Помнишь, под Ржевом, когда мы сопровождали «петляковых», восемь «мессеров» на него навалилось, он бой принял, семнадцать минут держался.

– Да, сменять истребителя на «юнкерса» – целесообразная вещь.

– Идет в воздухе и поет. Я каждый день его песни вспоминаю. Он и Вертинского пел.

– Развитой, москвич!

– Да, уж этот в воздухе не бросит. Всегда за отстающим следил.

– Ты его и не узнал хорошо.

– Узнал я. Напарника видишь в полете машины. Он мне раскрылся.

Скотной закончил очередной куплет песни, и все притихли, ожидая, пока он снова запоеет. Но Скотной не стал петь.

Он повторил известную на боевых аэродромах поговорку, сравнивавшую жизнь летчика-истребителя с короткой детской рубашонкой.

Заговорили о немцах.

– Его тоже сразу определяешь, какой сильный, настойчивый, какой ловит простачков, клюет сзади, караулит отстающего.

– У них, в общем, пары не так крепки.

– Ну, не скажи.

– Фриц в раненого зубами вцепится, а от активного уйдет.

– Один на один, пусть у него и две железки, я его собью!

– Ты не обижайся, но я бы за сбитого «юнкерса» не стал бы звание присваивать.

– Таран – вот русская натура.

– А чего мне обижаться, ты у меня звания не отнимешь.

- Да, насчет тарана у меня мысль давно есть... Я его еще ударю винтярой!
- Таран на догоне – вот таран! Загнать его в землю: с дымом, с газом!
- Интересно, командир полка корову и кур возьмет с собой на «дуглас»?
- Их уже порешили всех: солят!

Кто-то протяжно и задумчиво проговорил:

- Я бы в хороший клуб зайти сейчас с девушкой постеснялся, отвык совсем.
- Зато Соломатин не стесняется.
- Или завидуешь, Леня?
- Завидую факту, а не объекту.
- Ясно. Верен до гроба.

Потом все стали вспоминать бой под Ржевом, последний перед выходом в резерв, когда семь истребителей столкнулись с большой группой «юнкеров», шедших на бомбежку в сопровождении «мессеров». И казалось, каждый говорил о себе, но это казалось – говорили об общем.

– На фоне леса их не видно было, а поднялись – сразу заметно. Идут в три яруса! Я сразу признал «Ю-восемьдесят семь»: ноги торчат, нос желтый. Тут уж сел поудобней: ну, будет дело!

– А я сперва подумал: это разрывы зенитных.

– Солнце, конечно, способствовало этому делу! Я прямо с солнца на него свалился. Я левым ведомым шел. Тут сразу меня метров на тридцать подкинуло... Подкачал – ничего, самолет слушается! Пошел на «юнкера» всем оружием, подзакоптил его, а тут «мессер», длинный, как щука желтоногая, дал вираж, но опоздал. Вижу – по мне огоньки, идет синяя трасса.

– А я вижу, моя трасса в его черных плоскостях кончается.

– Увлекаешься!

– Я еще в детстве пускал змеев, отец драл меня! А на заводе был, семь километров в аэроклуб ходил после работы, язык на плечо, а ни одного занятия не пропустил.

– Нет, ты сюда послушай. Он меня – поджег: масляный бак, трубки бензиновые. Внутри загорелся. Пару! А тут еще ударил мне в козырек, разбил очки, стекла летят из козырька, слезы текут. Ну я что, – рванул под него, сорвал очки! Соломатин меня прикрыл. И знаешь – горю, а страха нет, – времени не хватает! Сел все же, сам не обгорел, сапоги сгорели, самолет сгорел.

– Я же вижу – сейчас свалят нашего парня. А я еще два виража сделал, он мне помахал: иди! Я был не парный, кидался вышибать «мессеров» у тех, кто нуждался.

– Ох, и я же тогда привез пробоин, избил меня, как старую куропатку.

– Я двенадцать раз ходил на этого фрица, подзакоптил! Вижу – мотает головой – верный куш есть! На расстоянии двадцати пяти метров пушкой его сбил.

– Да, вообще надо сказать – немец не любит бой на горизонталях, старается перейти на вертикальный.

– Вот это сказанул!

– А что?

– Да кто же этого не знает? Это уж в деревне девки знают: он отрывается от резких виражей.

– Эх, «чаечек» надо было тогда лучше прикрыть, там люди хорошие.

Потом стало тихо, и кто-то сказал:

– Уйдем завтра чуть свет, а Демидов останется тут один.

– Ну, ребята, кто куда, а я в сберкассе, – надо в деревню сходить.

– Прощальный визит – пошли!

Ночью все вокруг – река, поля, лес – было так тихо и прекрасно, что казалось, в мире не может быть ни вражды, ни измены, ни голода, ни старости, а одна лишь счастливая любовь. Облака наплывали на луну, и она шла в сером дыму, и дым застилал землю. Мало кто ночевал в эту ночь в блиндажах. На лесной опушке, у деревенских заборов мелькали белые платки, слы-

шался смех. В тишине вздрагивало дерево, испуганное ночным сновидением, а иногда речная вода неразборчиво бормотала и вновь беззвучно скользила.

Пришел горький час для любви – час разлуки, час судьбы, – одну, что плачет, забудут на второй день, других разлучит смерть, кому-то судьба присудит верность, встречу.

Но вот пришло утро. Заревели моторы, плоский самолетный ветер прижал охваченную смятением траву, и тысячи тысяч водяных капель затрепетали на солнце... Боевые самолеты, один за другим взбираясь на синюю гору, поднимают в небо пушки и пулеметы, кружат, ждут товарищей, строятся звеньями...

И то, что ночью казалось таким необъятным, уходит, тонет в синем небе...

Видны серые коробочки-дома, прямоугольники огородов, они скользят, уходят под крыло самолета... Уже не видна тропка, поросшая травой, не видна могила Демидова... Пошли! И вот лес дрогнул, пополз под крыло самолета.

– Здравствуй, Вера! – сказал Виктор.

39

В пять часов утра дневальные стали будить заключенных. Стояла глубокая ночь, бараки были освещены безжалостным светом, которым освещаются тюрьмы, узловые железнодорожные станции, приемные покои в городских больницах.

Тысячи людей, харкая, кашляя, подтягивали ватные штаны, наворачивали на ноги портянки, чесали бока, животы, шеи.

Когда спускавшиеся со вторых этажей деревянных нар задевали ногами по головам одевавшихся внизу, те не ругались, а молча отодвигали головы либо отпихивали рукой толкавшие их ноги.

В ночном пробуждении массы людей, мелькании портянок, движении спин, голов, махорочного дыма, в воспаленном, ярком электрическом свете была пронзительная неестественность: сотни квадратных километров тайги застыли в морозной тишине, а лагерь был набит людьми, полон движения, дыма, света.

Всю первую половину ночи шел снег, и сугробы завалили двери барачных, захлестнули дорогу, ведущую к шахтам...

Медленно завывали шахтные сирены, и, может быть, где-нибудь в тайге волки подвывали их широкому и безрадостному голосу. На лагерном поле сипло лаяли овчарки, слышался гул тракторов, расчищавших дороги к шахтным зданиям, перекликались конвойные...

Сухой снег, освещенный прожекторами, блестел нежно и кротко. На широком лагерном поле под непрерывный лай собак началась поверка. Голоса конвойных звучали простуженно и раздраженно... Но вот широкий, взбухающий от обилия живой поток поплыл в сторону шахтных копров. Скрипели ботинки и валенки. Вытаращив свой одинокий глаз, пялилась караульная вышка...

А сирены все выли, дальние и близкие, – северный сводный оркестр. Он звучал над морозной красноярской землей, над автономной республикой Коми, над Магаданом, над Советской Гаванью, над снегами колымского края, над чукотской тундрой, над лагерями мурманского севера и северного Казахстана...

Под голоса сирен, под удары лома по подвешенной к дереву рельсе шли добытчики соликамского калия, ридеровской и балхашской меди, колымского никеля и свинца, кузнецкого и сахалинского угля, шли строители железной дороги, идущей поверх вечной мерзлоты вдоль берега Ледовитого океана, колымских бархатных трасс, рабочие лесоповала Сибири и Северного Урала, мурманского и архангельского края...

В этот снежный ночной час начинался день на таежных лагпунктах и командировках великой лагерной громады Дальстроя.

40

Ночью у зека Абарчука был приступ тоски. Не той привычной и угрюмой лагерной тоски, а обжигающей, как малярия, заставляющей вскрикивать, срываться с нар, ударять себя по вискам, по черепу кулаками.

Утром, когда заключенные поспешно и одновременно неохотно собирались на работу, сосед Абарчука, газовый десятник, кавалерийский комбриг времен гражданской войны, длинноногий Неумолимов спросил:

– Что это ты мотался так ночью? Баба снилась? Ржал даже.

– Тебе бы только баба, – ответил Абарчук.

– А я думал, ты во сне плачешь, – сказал второй сосед по нарам, придурок Монидзе, член президиума Коммунистического интернационала молодежи, – я тебя разбудить хотел.

А третий лагерный друг Абарчука, фельдшер Абраша Рубин, ничего не заметил и сказал, когда они выходили в морозную тьму:

– Мне, знаешь, сегодня снился Николай Иванович Бухарин, будто он приехал к нам в Институт красной профессуры веселый, живой, и идет дикий шум по поводу теории Енчмена.

Абарчук пришел на работу в инструментальный склад. Пока его помощник Бархатов, зарезавший когда-то с целью грабежа семью из шести человек, растапливал печь кедровыми чурками – отходами от лесопильной рамы, Абарчук перекладывал инструменты, лежавшие в ящиках. Ему казалось, что колючая острота напильников и резцов, напивавшихся обжигающим холодом, передает чувство, испытанное им ночью.

День ничем не отличался от предыдущих. Бухгалтер прислал с утра утвержденные технологическим отделом заявки дальних лагпунктов. Надо было отобрать материалы и инструменты, упаковать их в ящики, составить сопроводительные ведомости. Некоторые посылки были некомплектные, и требовалось составление особых актов.

Бархатов, как всегда, ничего не делал, и заставить его работать нельзя было. Он, приходя на склад, занимался лишь вопросами питания, и сегодня он с утра варил в котелке суп из картофеля и капустных листьев. На минуту забежал к Бархатову профессор латыни из Харьковского фармацевтического института – посыльный при первой части, и дрожащими красными пальцами высыпал на стол немного грязного пшена. Бархатов за какие-то дела брал с него калым.

Днем Абарчука вызвали в финчасть – в отчете не сходились цифры. Зам. нач. финчасти кричал на него, грозился написать рапорт начальнику. От этих угроз Абарчуку стало тошно. Один, без помощника, он не справлялся с работой, а пожаловаться на Бархатова он не смел. Он устал, боялся потерять работу кладовщика, попасть опять в шахту или на лесоповал. Он уж поседел, сил стало мало... Вот, наверное, и от этого охватила его тоска – жизнь ушла под сибирский лед.

Когда он вернулся из финчасти, Бархатов спал, подложив под голову валенки, видимо, принесенные ему кем-то из уголовников; рядом с его головой стоял пустой котелок, к щеке прилипло трофейное пшено.

Абарчук знал, что Бархатов иногда уносит со склада инструменты, возможно, валенки появились в результате обменных операций со складским имуществом. А когда Абарчук однажды, недосчитавшись трех напильников, сказал: «Как не стыдно во время Отечественной войны воровать дефицитный металл», – Бархатов ему ответил: «Ты, вошь, молчи. А то знаешь!»

Абарчук не смел прямо будить Бархатова и стал греметь, перекладывать ленточные пилы, кашлять, уронил на пол молоток. Бархатов проснулся, спокойными, недовольными глазами следил за ним.

Потом он негромко сказал:

– Малый со вчерашнего эшелона рассказывал, – есть лагеря хуже Озерных. Зека в кандалах, полчерепа побритые. Фамилий нет, одни номера понашиты на груди, на коленях, а на спине бубновый туз.

– Брехня, – сказал Абарчук.

Бархатов мечтательно сказал:

– Надо бы всех фашистов политических туда собрать, а тебя, падло, первым, чтобы не будил меня.

– Простите, гражданин Бархатов, я нарушил ваш покой, – сказал Абарчук.

Он очень боялся Бархатова, но иногда не мог справиться со своим раздражением.

В час смены на склад зашел черный от угольной пыли Неумолимов.

– Ну как соревнование? – спросил Абарчук. – Включается народ?

– Разворачиваем. Уголек-то на военные нужды идет, – это все понимают. Плакаты сегодня из КВЧ принесли: поможем Родине ударным трудом.

Абарчук вздохнул, сказал:

– Знаешь, надо написать труд о лагерной тоске. Одна тоска давит, вторая наваливается, третья душит, дышать не дает. А есть такая особая, которая не душит, не давит, не наваливается, а изнутри разрывает человека, вот как разрывает глубинных чудовищ давление океана.

Неумолимов грустно улыбнулся, но зубы его не блеснули белизной, они у него были порченные, сливались по цвету с углем.

Бархатов подошел к ним, и Абарчук, оглянувшись, сказал:

– Всегда ты так бесшумно ходишь, я вздрагиваю даже: вдруг уж ты рядом.

Бархатов, человек без улыбки, озабоченно проговорил:

– Я схожу на продсклад, не возражаешь?

Он ушел, и Абарчук сказал своему другу:

– Вспомнил ночью сына от первой жены. Он, наверное, на фронт пошел.

Он наклонился к Неумолимову.

– Мне хочется, чтобы парень вырос хорошим коммунистом. Я вот думал, встречусь с ним, скажу ему: помни, судьба твоего отца – случай, мелочь. Дело партии – святое дело! Высшая закономерность эпохи!

– Он твою фамилию имеет?

– Нет, – ответил Абарчук, – я считал, что из него вырастет мещанин.

Накануне вечером и ночью он думал о Людмиле, ему хотелось видеть ее. Он искал обрывки московских газет, вдруг прочтет: «лейтенант Анатолий Абарчук». И ему станет ясно, что сын захотел носить фамилию отца.

Впервые в жизни ему захотелось жалости к себе, и он представлял, как подойдет к сыну, дыхание прервется, и он покажет рукой на горло: «Не могу говорить».

Толя обнимет его, и он положит голову сыну на грудь и заплачет, без стыда, горько, горько. И они так будут долго стоять, сын выше его на голову...

Сын постоянно думал об отце. Он разыскал товарищей отца, узнал, как отец участвовал в боях за революцию. Толя скажет: «Папа, папа, ты совсем белый стал, какая у тебя худая, морщинистая шея... Все эти годы ты боролся, ты вел великую, одинокую борьбу».

Во время следствия его кормили три дня соленым и не давали воды, били.

Он понял, что дело не в том, чтобы заставить его подписать показания о диверсиях и о шпионаже, и не в том, чтобы он оговорил людей. Главное было в том, чтобы он усомнился в правоте дела, которому отдал жизнь. Когда шло следствие, ему казалось, что он попал в руки бандитов и стоит добиться встречи с начальником отдела – и бандит-следователь будет схвачен.

Но шло время, и он увидел, что дело не только в нескольких садистах.

Он узнал законы эшелона и законы арестантского пароходного трюма. Он видел, как уголовные проигрывали в карты не только чужие вещи, но и чужую жизнь. Он видел жалкий раз-

врат, предательство. Он видел уголовную Индию, истеричную, кровавую, мстительную, суеверную, невероятно жестокую. Он видел страшные побоища между «суками» – работающими и «ворами» – ортодоксами, отказывающимися от работы.

Он говорил: «Зря не сажают», считал, что посажена по ошибке маленькая кучка людей, в том числе и он, остальные репрессированы за дело, – меч правосудия покарал врагов революции.

Он видел угодливость, вероломство, покорность, жестокость... Он называл эти черты родимыми пятнами капитализма и считал, что их несли на себе бывшие люди, белые офицеры, кулачье, буржуазные националисты.

Его вера была непоколебима, его преданность партии – беспредельна...

Неумолимов, собираясь уходить со склада, неожиданно сказал:

– Да, забыл, ведь тебя тут один спрашивал.

– Это где же?

– Со вчерашнего эшелона. Их на работу распределяли. Один тебя спросил. Я говорю: «Случайно знаю, я с ним случайно четвертый год рядом на нарах сплю». Он мне назвал, но фамилия вылетела из головы.

– А он какой по виду? – спросил Абарчук.

– Да знаешь, плюгавенький, шрам на виске.

– Ох! – вскрикнул Абарчук. – Неужели Магар?

– Во-во.

– Да это же мой старший товарищ, учитель мой, он меня в партию ввел! О чем он спрашивал? Что говорил?

– Обычное спрашивал, – какой у тебя срок? Я сказал: просил пять, получил десять. Теперь, говорю, кашлять стал, освободится досрочно.

Абарчук, не слушая Неумолимова, повторял:

– Магар, Магар... Он работал одно время в ВЧК... Это был особый человек, знаешь, особый. Все товарищу отдаст, шинель зимой с себя снимет, последний кусок хлеба товарищу отдаст. А умен, образованный. И чистых пролетарских кровей, сын керченского рыбака.

Он оглянулся и наклонился к Неумолимову.

– Помнишь, мы говорили, коммунисты в лагере должны создать организацию, помогать партии, а Абрашка Рубин спросил: «Кого же в секретари?» Вот его.

– А я за тебя голосну, – сказал Неумолимов, – я его не знаю. Где найдешь его, – десять машин с людьми пошли на лагпункты, наверное, и он поехал.

– Ничего, найдем, ах, Магар, Магар. Значит, спрашивал обо мне?

Неумолимов сказал:

– Чуть не забыл, зачем к тебе шел. Дай мне бумаги чистой. Вот память стала.

– Письмо?

– Нет, заявление Семе Буденному. На фронт буду проситься.

– Не пустят.

– Меня Сема помнит.

– Политических в армию не берут. Вот дадут наши шахты больше угля, и за это бойцы спасибо скажут, там и твоя доля будет.

– Я в войска хочу.

– Тут Буденный не поможет. Я Сталину писал.

– Не поможет? Шутишь, – Буденный! Иль тебе бумаги жалко? Я бы не стал просить, но мне в КВЧ бумаги не дают. Я свою норму использовал.

– Ладно, дам листик, – сказал Абарчук.

У него имелось немного бумаги, за которую он не должен был отчитываться. А в КВЧ бумагу давали счетом, и надо было потом показывать, на что использована она.

Вечером в бараке шла обычная жизнь.

Старый кавалергард Тунгусов, моргая глазами, рассказывал бесконечную историю-роман: уголовные внимательно слушали, почесываясь, и одобрительно покачивали головами. Тунгусов плел путаную, замысловатую баланду, всаживая в нее имена знакомых балерин, знаменитого Лоуренса, описания дворцов, события из жизни трех мушкетеров, плавание жюль-верновского Наутилуса.

– Постой, постой, – сказал один из слушателей, – как же она перешла границу Персии, ты вчера говорил – ее легавые отравили?

Тунгусов помолчал, кротко посмотрел на критика, потом бойко проговорил:

– Положение Надин лишь казалось безнадежным. Усилия тибетского врача, влившего в ее полуоткрытые губы несколько капель драгоценного отвара, добытого из синих высокогорных трав, вернули ей жизнь. К утру она настолько оправилась, что могла передвигаться по комнате без посторонней помощи. Силы возвращались к ней.

Объяснение удовлетворило слушателей.

– Ясно... дуй дальше, – сказали они.

В углу, который назывался колхозный сектор, хохотали, слушая старого глупостника, немецкого старосту Гасюченко, нараспев говорящего похабные частушки:

Гоп сыдор, макотер
Дид на печки...

Дальше шли такие рифмы, что слушатели изнемогали от смеха. Страдающий от грыжи московский журналист и писатель, добрый, умный и робкий человек, медленно жевал белый сухарь – он накануне получил посылку от жены. Видимо, вкус и хруст сухаря напоминали ему прошлую жизнь – в глазах его стояли слезы.

Неумолимов спорил с танкистом, попавшим в лагерь за убийство из низменных побуждений. Танкист развлекал слушателей, глумился над кавалерией, а Неумолимов, бледный от ненависти, кричал ему:

– Мы своими клинками, знаешь, чего делали в двадцатом году!

– Знаю, кур ворованных кололи. Одна машина КВ всю вашу Первую конную завернуть может. Вы гражданскую войну с отечкой не сравнивайте.

Молодой вор Колька Угаров приставал к Абраше Рубину, уговаривал его сменить ботинки на рваные, с оторванными подметками тапочки.

Рубин, чуя беду, нервно зевал, оглядывался на соседей, ища поддержки.

– Смотри, жид, – говорил похожий на поворотливого, светлоглазого дикого кота Колька, – смотри, падлю, ты мне последние нервы треплешь.

Потом Угаров сказал:

– Почему ты мне освобождения не подписал от работы?

– Ты ведь здоров, я не имею права.

– Не подпишешь?

– Коля, милый, клянусь тебе, я бы с радостью, но не могу.

– Не подпишешь?

– Ну пойми. Неужели ты думаешь, если б я мог...

– Ладно. Все.

– Постой, постой, пойми меня.

– Я понял. Теперь ты поймешь.

Обрусевший швед Штеддинг, о нем говорили, что он действительно шпион, отрываясь на миг от картины, которую он рисовал на куске картона, выданного ему в культурно-воспитательной части, поглядел на Кольку, на Рубина, покачал головой и снова обратился к кар-

тине. Картина называлась «Тайга-матушка». Штеддинг не боялся уголовных – они почему-то не трогали его.

Когда Колька отошел, Штеддинг сказал Рубину:

– Безумно ведете себя, Абрам Ефимович.

Не боялся уголовных и белорус Конашевич, он до лагеря был авиационным механиком на Дальнем Востоке, завоевал в тихоокеанском флоте звание чемпиона по боксу в полутяжелом весе. Конашевича уголовные уважали, но он никогда не вступался за тех, кого воры обижали.

Абарчук медленно шел по узкому проходу между двухэтажными нарами-крестами, тоска вновь охватила его. Дальний конец стометрового барака тонул в махорочном тумане, и каждый раз казалось, что, дойдя до барачного горизонта, Абарчук увидит новое, но было все то же, – тамбур, где под деревянными желобами-умывальниками стирали портянки заключенные, прислоненные к штукатуренной стене швабры, крашенные ведра, матрасики на нарах, набитые вылезавшими сквозь мешковину стружками, ровный гул разговоров, испытые, все под один цвет лица заключенных.

Большинство зека, ожидая вечернего отбоя, сидели на нарах, говорили о супе, о бабах, о нечестности хлеборежа, о судьбе своих писем Сталину и заявлений в Прокуратуру СССР, о новых нормах для отбойки и откатки угля, о сегодняшнем морозе, о завтрашнем морозе.

Абарчук шел медленно, слушая обрывки разговоров, – и казалось, все одна и та же нескончаемая беседа длится годами среди тысяч людей на этажах, в эшелонах, в лагерных бараках – у молодых о бабах, у стариков о еде. Особенно было нехорошо, когда о женщинах жадно говорили старики, а о вкусной вольной еде – молодые ребята.

Проходя мимо нар, где сидел Гасюченко, Абарчук ускорил шаги, – старый человек, чью жену дети и внуки зовут «мама», «бабушка», нес такое, что страшно делалось.

Скорей бы отбой, – лечь на нары, закрыть голову ватником, не видеть, не слышать.

Абарчук посмотрел на дверь, – вот войдет Магар. Абарчук уговорит старосту, их положат рядом, и ночами они будут беседовать, откровенно, искренне, – два коммуниста, учитель и ученик, члены партии.

На нарах, где размещались хозяева барака – бригадир угольной бригады Перекрест, Бархатов, староста барака Зароков, – устроили пирушку. Шестерка – перекрестовский холуй, плановик Желябов, постелил на тумбочке полотенце, раскладывая сало, селедку, пряники – калым, полученный Перекрестом с тех, кто работал в его бригаде.

Абарчук прошел мимо хозяйских нар, чувствуя, как замирает сердце, – вдруг окликнут, позовут. Очень хотелось поест вкусенького. Подлец Бархатов! Ведь делает все, что хочет на складе, ведь Абарчук знает, что он ворует гвозди, украл три напильника, но ни слова не заявил на вахте... мог бы подозвать: «Эй, заведующий, присядь с нами». И, презирая себя, Абарчук чувствовал, что не только желание поест, но и другое чувство волнует его, – мелкое и подлое лагерное чувство. Побывать в кругу сильных, по-простому разговаривать с Перекрестом, перед которым трепетал весь огромный лагерь.

И Абарчук подумал о себе – падлю. И тут же думал о Бархатове – падлю.

Его не позвали, позвали Неумолимова, и, улыбаясь коричневыми зубами, пошел к нарам кавалерийский комбриг, кавалер двух орденов Красного Знамени. Улыбающийся человек, подхихивавший к воровскому столу, двадцать лет тому назад вел в бой кавалерийские полки добывать мировую коммуны...

Зачем он говорил Неумолимову сегодня о Толе, о самом своем дорогом.

Но ведь и он шел в бой за коммуны, и он из своего кабинета на кузбасской стройке рапортовал Сталину, и он волновался, окликнут ли его, когда потупившись, с делано безразличным лицом, проходил мимо тумбочки, покрытой вышитым грязным полотенцем.

Абарчук подошел к нарам Монидзе, тот штопал носок, и сказал:

– Знаешь, что я подумал. Я уже завидую не тем, кто на воле. Я завидую тем, кто попал в немецкий концлагерь. Как хорошо! Сидеть и знать, что бьет тебя фашист. У нас ведь самое страшное, самое трудное, – свои, свои, свои, у своих.

Монидзе поднял на него печальные большие глаза и сказал:

– А мне сегодня Перекрест сказал: «Имей в виду, кацо, дам тебе кулаком по черепу, доложу на вахте, и мне благодарность будет, – ты последний изменник».

Абраша Рубин, сидевший на соседних нарах, сказал:

– И не это самое плохое.

– Да, да, – сказал Абарчук, – видел, как комбриг обрадовался, когда его позвали?

– А ты огорчился, что не тебя позвали? – сказал Рубин.

Абарчук с той особой ненавистью, которая рождается болью от справедливого упрека и подозрения, сказал:

– Читай свою душу, а в мою не лезь.

Рубин по-куриному полужакрыл глаза:

– Я? Я даже огорчаться не смею. Я низшая секта, неприкасаемый. Слышал мой разговор с Колькой?

– Не то, не то, – отмахнулся Абарчук, встал и вновь зашагал в сторону тамбура по проходу между нарами, и вновь до него доходили слова длинной, не имеющей конца беседы.

– Борщ со свининкой и в будни, и в праздники.

– У нее грудь, ты не поверишь.

– А я по-простому – баранину с кашей, зачем мне ваши майонезы, граждане...

Он снова вернулся к нарам Монидзе, присел, прислушался к разговору.

Рубин говорил:

– Я не понял его, почему он сказал: «Станешь композитором». А это он имел в виду стукачей – пишут оперу, ну оперуполномоченному.

Монидзе, продолжая штопать, сказал:

– Ну его к черту, стучать – последнее дело.

– Как стучать? – сказал Абарчук. – Ты ведь коммунист.

– Такой же, как ты, – ответил Монидзе, – бывший.

– Я не бывший, – сказал Абарчук, – и ты не бывший.

И опять Рубин обозлил его, высказав справедливое подозрение, которое всегда оскорбительней и тяжелей несправедливого:

– Тут дело не в коммунизме. Надоели кукурузные помои три раза в день. Я этот суп видеть не могу. Это – за. А против – не хочется, чтобы ночью сделали темную, а утром нашли, как Орлова, в уборной, спущенным в очко. Слышал мой разговор с Колькой Угаровым?

– Головой вниз, ногами вверх! – сказал Монидзе и стал смеяться, должно быть, потому, что смеяться было нечему.

– Ты что ж, считаешь, мной руководят животные инстинкты? – спросил Абарчук и почувствовал истерическое желание ударить Рубина.

Он снова сорвался с места и пошел по бараку.

Конечно, надоела кукурузная болтушка. Сколько уж дней он гадал о грядущем обеде в день Октябрьской революции: рагу из овощей, макароны по-флотски, запеканка?

Конечно, от оперуполномоченного многое зависит, и таинственны, туманны дорожки к высотам жизни – зав. баней, хлеборез. Ведь он может работать в лаборатории, – белый халат, заведующая вольнонаемная, не зависеть от уголовных, он может работать в плановом отделе, заведовать шахтой... Но Рубин не прав. Рубин хочет унижить, Рубин подрывает силу, ищет в человеке то, что воровски прокрадывается из подсознания. Рубин диверсант.

Всю жизнь Абарчук был непримиримым к оппортунистам, ненавидел двурушников и социально чуждых.

Его душевная сила, его вера были в праве суда. Он усомнился в жене и расстался с ней. Он не поверил, что она воспитает сына непоколебимым борцом, и он отказал сыну в своем имени. Он клеймил тех, кто колебался, презирал нытиков, проявлявших слабость маловеров. Он предавал суду итээровцев, тосковавших в Кузбассе по московским семьям. Он засудил сорок социально неясных рабочих, подавшихся со стройки в деревни. Он отрекся от мешанина-отца.

Сладко быть непоколебимым. Совершая суд, он утверждал свою внутреннюю силу, свой идеал, свою чистоту. В этом была его утеха, его вера. Он ни разу не уклонился от партийных мобилизаций. Он добровольно отказался от партмаксимума. В его самоотречении было его самоутверждение. В своей неизменной гимнастике и сапогах он ходил на работу, на заседания коллегии наркомата, в театр, гулял в Ялте по набережной, когда партия послала его лечиться. Он хотел походить на Сталина.

Теряя право судить, он терял себя. И Рубин чувствовал это. Почти каждый день он намекал на слабости, на трусость, на жалкие желания, прокрадывающиеся в лагерную душу.

Позавчера он сказал:

– Бархатов снабжает складским металлом шпану, а наш Робеспьер молчит. Цыпленки тоже хотят жить.

Когда Абарчук, готовясь осудить кого-нибудь, ощущал, что он и сам подсуден, начинал колебаться, его охватывало отчаяние; он терял себя.

Абарчук остановился у нар, где старый князь Долгорукий говорил с молодым профессором экономического института Степановым. Степанов вел себя в лагере надменно, отказывался вставать, когда в барак входило начальство, открыто высказывал несоветские взгляды. Он гордился тем, что в отличие от массы политических заключенных сидел за дело: написал статью под заголовком «Государство Ленина – Сталина» и давал ее читать студентам. Не то третий, не то четвертый читатель донес на него.

Долгорукий вернулся в Советский Союз из Швеции. До Швеции он долго жил в Париже и стосковался по родине. Через неделю после возвращения он был арестован. В лагере он молился, дружил с сектантами и писал стихи мистического содержания.

Сейчас он читал Степанову стихи.

Абарчук, опершись плечом на перекрещенные доски, набитые между нарами первого и второго этажа, послушал чтение. Долгорукий, полузакрыв глаза, читал дрожащими, потрескавшимися губами. И негромкий голос его был дрожащий и потрескавшийся.

Я не сам ли выбрал час рожденья,
Год и область, царство и народ,
Чтоб пройти все муки и крещенья
Совести, огня и вод.
Апокалиптическому зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший ниже, чем возможно пасть,
В гноище и смраде – верю!
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: Ты прав, что так судил!
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало,
Господи, вот плоть моя!

Окончив чтение, он продолжал сидеть с полужакрытыми глазами, и губы его продолжали беззвучно шевелиться.

– Мура, – сказал Степанов, – декадентство.

Долгорукий показал бледной, бескровной рукой вокруг себя.

– Вы видите, куда привели русских людей Чернышевский и Герцен. Помните, что писал Чаадаев в своем третьем философском письме?

Степанов учительским тоном сказал:

– Вы в своем мистическом мракобесии мне так же противны, как и организаторы этого лагеря. И вы, и они забываете о третьем, самом естественном пути России: пути демократии, свободы.

Абарчук уже не раз спорил со Степановым, но теперь ему не хотелось вмешиваться в разговор, клеймить в Степанове врага, внутреннего эмигранта. Он прошел в угол, где молились баптисты, послушал их бормотание.

В это время раздался зычный голос старосты Зарокова:

– Встать!

Все повскакивали с мест, – в барак вошло начальство. Скосив глаза, Абарчук видел бледное длинное лицо стоявшего, руки по швам, фитиля-доходяги Долгорукого, губы его шептали. Он, вероятно, повторял свои стихи. Рядом сидел Степанов, он, как всегда, из анархических побуждений не подчинялся разумным правилам внутреннего распорядка.

– Шмон, шмон, – шептали заключенные.

Но обыска не было. Два молодых конвойных солдата в красно-синих фуражках прошли меж нарами, оглядывая заключенных.

Поравнявшись со Степановым, один из них сказал:

– Сидишь, профессор, жопу боишься простудить.

Степанов, повернув свою курносую, широкую морду, громким голосом попугая ответил заученную фразу:

– Гражданин начальник, прошу обращаться ко мне на «вы», я являюсь политическим заключенным.

Ночью в бараке произошло ЧП, – был убит Рубин.

Убийца приставил к его уху во время сна большой гвоздь и затем сильным ударом вогнал гвоздь в мозг. Пять человек, в том числе Абарчук, были вызваны к оперуполномоченному. Опера, видимо, интересовало происхождение гвоздя. Такие гвозди недавно поступили на склад, и с производства на них еще не было требований.

Во время умывания Бархатов стал у деревянного желоба рядом с Абарчуком. Повернув к нему свое мокрое лицо, Бархатов, слизывая капли с губ, тихо сказал:

– Запомни, падло, если стукнешь оперу – мне ничего не будет. А тебя пришью в эту же ночь, да так, что лагерь содрогнется.

Вытеревшись полотенцем, он заглянул своими спокойными промытыми водой глазами в глаза Абарчука и, прочтя в них то, что хотел прочесть, пожал Абарчуку руку.

В столовой Абарчук отдал Неумолимову свою миску кукурузного супа.

Неумолимов дрожащими губами сказал:

– Вот зверь. Абрашу нашего! Какой человек! – и придвинул к себе абарчуковский суп.

Абарчук молча встал из-за стола.

При выходе из столовой толпа расступилась, в столовую шел Перекрест. Переступая порог, он нагнулся, лагерные потолки не были рассчитаны на его рост.

– Сегодня у меня рождение. Приходи гулять. Водочки выпьем.

Ужасно! Десятки людей слышали ночную расправу, видели человека, подошедшего к нарам Рубина.

Что стоило вскочить, поднять по тревоге барак. Сотни сильных людей, объединившись, могли за две минуты справиться с убийцей, спасти товарища. Но никто не поднял головы, не закричал. Человека убили, как овцу. Люди лежали, притворяясь спящими, натягивая на головы ватники, стараясь не кашлянуть, не слышать, как метался в беспамятстве умирающий.

Какая подлость, какая овечья покорность!

Но ведь и он не спал, ведь и он молчал, покрыл голову ватником... Он отлично знал, что покорность не от пустяков, рождена опытом, знанием лагерных законов.

Подымись они ночью, останови убийцу, все равно человек с ножом сильней человека, не имеющего ножа. Сила барака – минутная сила, а нож всегда нож.

И Абарчук думал о предстоящем допросе: оперуполномоченному просто требовать показаний, – он не спит ночью в бараке, он не моется в тамбуре, подставляя спину под удар, он не ходит по шахтным продольным, он не заходит в барачную уборную, где вдруг навалются, накинута на голову мешок.

Да, да, он видел, как ночью шел человек к спящему Рубину. Он слышал, как хрипел Рубин, бил, умирая, руками и ногами по нарам.

Оперуполномоченный, капитан Мишанин, вызвал Абарчука к себе в кабинет, прикрыл дверь, сказал:

– Садитесь, заключенный.

Он стал задавать первые вопросы, те, на которые получал всегда от политических заключенных быстрые и точные ответы.

Потом он поднял утомленные глаза на Абарчука и, заранее понимая, что многоопытный заключенный, боясь неминуемой барачной расправы, никогда не скажет, каким образом гвоздь попал в руки убийцы, несколько мгновений смотрел на Абарчука.

Абарчук тоже смотрел на него, разглядывал молодое лицо капитана, его волосы и брови, веснушки на носу и думал, что капитан старше его сына не больше, чем на два-три года.

Капитан задал вопрос, тот, ради которого вызвал заключенного, вопрос, на который уже не ответили трое допрошенных до Абарчука.

Абарчук некоторое время молчал.

– Вы что, глухой?

Абарчук продолжал молчать.

Как хотелось ему, чтобы оперуполномоченный, пусть даже не искренне, а лишь применяя установленный следственный прием, сказал: «Слушай, товарищ Абарчук, ведь ты коммунист. Сегодня ты в лагере, а завтра мы с тобой будем в одной организации членские взносы платить. Помоги мне, как товарищ товарищу, как члену партии».

Но капитан Мишанин сказал:

– Заснули, что ли, так я вас сейчас разбужу.

Но Абарчука не надо было будить.

Осипшим голосом он сказал:

– Гвозди воровал со склада Бархатов. Он взял, кроме того, со склада три напильника. Убийство, по-моему, совершил Николай Угаров. Я знаю, что Бархатов передал ему гвоздь, а Рубина Угаров несколько раз грозил убить. И вчера обещал: Рубин не давал ему освобождения по болезни.

Затем он взял протянутую ему папиросу и сказал:

– Я считаю своим партийным долгом заявить вам об этом, товарищ оперуполномоченный. Товарищ Рубин – старый член партии.

Капитан Мишанин дал ему прикурить и начал быстро, молча писать. Потом он сказал мягким голосом:

– Вы должны знать, заключенный, – ни о каком партийном членстве вам говорить не полагается. Вам запрещено обращение – товарищ. Я для вас гражданин начальник.

– Виноват, гражданин начальник, – сказал Абарчук.

Мишанин сказал ему:

– Деньков несколько, пока я не закончу дознания, у вас тут порядок будет. А потом, знаете... Можно вас перевести в другой лагерь.

– Нет, я не боюсь, гражданин начальник, – сказал Абарчук.

Он шел на склад, зная, что Бархатов его ни о чем не спросит. Бархатов неотступно будет глядеть на него, вытянет правду, следя за его движениями, взглядами, покашливаниями.

Он был счастлив, он победил себя.

Он вновь обрел право суда. И, вспоминая Рубина, Абарчук жалел, что не может высказать ему того плохого, что думал о нем вчера.

Прошло три дня, а Магар не появлялся. Абарчук спрашивал о нем в управлении шахт, ни в одном из списков знакомые Абарчуку писари не нашли фамилии Магара.

Вечером, когда Абарчук понял, что судьба их развела, пришел в барак занесенный снегом санитар Трюфелев и, выдирая ледяшки из ресниц, сказал Абарчуку:

– Слышите, тут к нам в санчасть поступил один заключенный, просил вас прийти до него.

Трюфелев добавил:

– Давай лучше сейчас тебя проведу. Отпросись у старосты, а то, знаешь, в наших зека сознательности никакой – накроется в два счета, агитируй его, когда наденет деревян-бушлат.

41

Санитар привел Абарчука в больничный коридор, пахнувший своим особым, отличным от барачных, плохим запахом. Они прошли в полутьме мимо наваленных деревянных носилок и связанных в тюки старых ватников, видимо, дожидавшихся дезинфекции.

Магар лежал в изоляторе – камере с бревенчатыми стенами, где почти вплотную одна к другой стояли две железные кровати. В изолятор обычно клали либо больных инфекционными заболеваниями, либо доходяг-умирающих. Тоненькие ножки кроватей казались проволочными, но они не были погнуты, полнотелые люди никогда не лежали на этих кроватях.

– Не сюда, не сюда, правей, – раздался голос настолько знакомый, что Абарчуку показалось, – нету седины, нету неволи, а снова то, чем жил и ради чего счастлив был отдать жизнь.

Он, вглядываясь в лицо Магара, иступленно, медленно сказал:

– Здравствуй, здравствуй, здравствуй...

Магар, боясь не справиться с волнением, произнес нарочито буднично:

– Да садись, садись прямо против меня на койку.

И, видя взгляд, которым Абарчук поглядел на соседнюю койку, добавил:

– Ты его не потревожишь, его уж никто не потревожит.

Абарчук наклонился, чтобы лучше видеть лицо товарища, потом снова оглянулся на прикрытого покойника:

– Давно он?

– Часа два назад умер, санитары его не тревожат пока, ждут врача, это лучше, а то положат другого, живой говорить не даст.

– Это верно, – сказал Абарчук и не задал вопросы, страстно интересующие его: «Ну как, ты с Бубновым проходил или по делу Сокольников? А срок какой у тебя? Ты был во Владимирском или Суздальском политизоляторе? Особое совещание или военная коллегия? Ты подписал на себя?»

Он оглянулся на прикрытое тело, спросил:

– А кто он, отчего умер?

– Умер от лагеря, раскулаченный. Звал какую-то Настю, все хотел уходить куда-то...

Абарчук постепенно различил в полумраке лицо Магара. Он не узнал бы его, какое уж там не изменился – умирающий старик!

Чувствуя спиной прикосновение твердой, согнутой в локте руки покойника, ощущая на себе взгляд Магара, он подумал: «Тоже, наверно, считает: в жизни б не узнал».

А Магар сказал:

– Я только сейчас понял, – он все бубнил что-то вроде: би... би... би... би... а это он просил: «Пить, пить», кружка рядом, хоть бы выполнил его последнюю волю.

– Видишь, мертвый тоже вмешивается.

– А это понятно, – сказал Магар, и Абарчук услышал знакомую, всегда волновавшую его интонацию: так обычно Магар начинал серьезный разговор. – Ведь говорим о нем, а разговор о себе.

– Нет, нет! – Абарчук, поймав горячую ладонь Магара, сжал ее, обнял его за плечи, затрясся от беззвучного рыдания, задохнулся.

– Спасибо тебе, – бормотал он, – спасибо тебе, спасибо, товарищ, друг.

Они молчали, оба тяжело дыша. Их дыхание смешивалось в одно, и Абарчуку казалось, что не только дыхание их слилось.

Магар заговорил первый.

– Слушай, – сказал он, – слушай, друг, я тебя так в последний раз называю.

– Брось ты, ты будешь жить! – сказал Абарчук.

Магар сел на постели.

– Как пытки не хочу, но должен сказать. И ты слушай, – сказал он покойнику, – это тебя касается, твоей Насти. Это мой последний революционный долг, и я его выполню! Ты, товарищ Абарчук, особая натура. Да и встретились мы когда-то в особое время, – мне кажется, наше лучшее время. Вот я скажу тебе... Мы ошиблись. Наша ошибка вот к чему привела – видишь... мы с тобой должны просить прощения у него. Дай-ка мне закурить. Да какое уж там каяться. Сего не искупить никаким покаянием. Это я хотел сказать тебе. Раз. Теперь – два. Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис под базисом. Без свободы нет пролетарской революции. Вот два, и слушай – три. Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильнее всего. Не сила это – слабость, самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь, – и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства... А здесь, в лагере, тот же инстинкт им велит не меняться – если не хочешь покрыться деревян-бушлатом, то не меняйся в лагерные десятилетия, в этом спасение... Две стороны медной монетки...

– Перестань! – крикнул Абарчук и вскочил, поднес к лицу Магара сжатый кулак. – Тебя сломали! Ты не вынес! То, что ты сказал, ложь, бред.

– Хорошо бы, но я не в бреду. Я ведь снова зову тебя! Как двадцать лет назад звал! Если мы не можем жить, как революционеры, – умрем, так жить хуже.

– Хватит, довольно!

– Прости меня. Я понимаю. Я похож на старую гетеру, что плачет о потерянной добродетели. Но говорю тебе: помни! Дорогой мой, прости меня...

– Простить? Да лучше бы я, лучше бы ты вот так, как этот мертвец, лежали, не дожив до часа встречи...

Стоя уже в дверях, Абарчук проговорил:

– Я еще приду к тебе... Я тебе вправлю мозги, теперь я буду твоим учителем.

Утром санитар Трюфелев встретился Абарчуку на лагерном дворе, он тащил на санках бидон с молоком, обвязанный веревками. Странно было, что за полярным кругом у человека потное лицо.

– Твоему дружку молочка не пить, – сказал он, – удавился сегодня ночью.

Приятно поразить человека новостью, и санитар с дружелюбным торжеством смотрел на Абарчука.

– Записку оставил? – спросил Абарчук и хлебнул ледяного воздуха. Ему показалось, что Магар обязательно оставил записку, – то, вчерашнее, нашло на него случайно.

– Зачем записка? Что ни напишешь – к оперу попадает.

Эта ночь была самая тяжелая в жизни Абарчука. Он лежал не шевелясь, стиснув зубы, глядя широко открытыми глазами на стену с темными следами давленных клопов.

Он обращался к сыну, которому не хотел когда-то дать своей фамилии, и звал его: «Ты теперь один у меня, ты один – моя надежда. Видишь, друг, учитель хотел удавить мой ум, мою волю и сам удавился. Толя, Толя, ты один, один у меня на всем свете. Видишь ли ты меня, слышишь ли ты меня? Узнаешь ли когда-нибудь, что и в эту ночь отец твой не согнулся, не поколебался?»

А вокруг, рядом, спал лагерь – спал тяжело, громко, некрасиво, в тяжелом, удушливом воздухе, с храпом, лепетанием, сонным визгом, со скрежетом зубов, с протяжными стонами и вскрикиваниями.

Абарчук вдруг приподнялся на нарах, казалось, рядом шевельнулась чья-то быстрая, бесшумная тень.

42

В конце лета 1942 года войска кавказской группы Клейста захватили первый советский нефтяной промысел близ Майкопа. Немецкие войска были на Нордкапе и на Крите, в северной Финляндии и на берегу Ла-Манша. Народный маршал, солдат на солнце, Эрвин Роммель, стоял в 80 километрах от Александрии. На вершине Эльбруса горные егеря водрузили знамя со свастикой. Манштейн получил приказ двинуть гигантские пушки и верферы – новую реактивную артиллерию, на цитадель большевизма – Ленинград. Скептик Муссолини разрабатывал план вступления в Каир, тренировался в езде на арабском жеребце. Солдат на снегу, Диттль, стоял в тех северных широтах, до которых не доходил ни один европейский завоеватель. Париж, Вена, Прага, Брюссель стали провинциальными немецкими городами.

Пришла пора осуществить самые жестокие планы национал-социализма, направленные против человека, его жизни и свободы. Лидеры фашизма лгут, утверждая, что напряжение борьбы вынуждает их быть жестокими. Опасность, наоборот, отрезвляет их, неуверенность в своих силах заставляет их сдерживаться.

Мир захлебнется в крови в тот день, когда фашизм полностью будет уверен в своем окончательном торжестве. Если у фашизма не останется вооруженных врагов на земле, палачи, убивающие детей, женщин и стариков, не будут знать удержу. Ведь главный враг фашизма – человек.

Осенью 1942 года имперское правительство приняло ряд особо жестоких, бесчеловечных законов.

В частности, 12 сентября 1942 года, в пору апогея военного успеха национал-социализма, евреи, населяющие Европу, были полностью изъяты из юрисдикции судов и переданы гестапо.

Руководство партии и лично Адольф Гитлер вынесли решение о полном уничтожении еврейской нации.

43

Софья Осиповна Левинтон иногда думала о том, что было прежде, – пять курсов Цюрихского университета, летняя поездка в Париж и в Италию, концерты в консерватории и экспедиции в горные районы Центральной Азии, врачебная работа, которую она вела тридцать два года, любимые кушанья, друзья, чья жизнь, с тяжелыми и веселыми днями, сплелась с ее жизнью, привычные телефонные звонки, привычные словечки «хошь... покедова...», картонные игры, вещи, оставшиеся в ее московской комнате.

Вспоминались сталинградские месяцы – Александра Владимировна, Женя, Сережа, Вера, Маруся. Чем ближе были ей люди, тем дальше, казалось, ушли они от нее.

Как-то перед вечером в запертом товарном вагоне эшелона, стоявшего на запасных путях какой-то узловой станции недалеко от Киева, она искала вшей в вороте своей гимнастерки, а рядом две пожилые женщины быстро, негромко говорили по-еврейски. В этот момент она с необычайной ясностью осознала, что это именно с ней, с Сонечкой, Сонькой, Софой, Софьей Осиповной Левинтон, майором медицинской службы, – все это произошло.

Главное изменение в людях состояло в том, что у них ослабевало чувство своей особой натуры, личности и силилось, росло чувство судьбы.

«Кто же действительно, по-настоящему – я, я, я? – думала Софья Осиповна. – Та куцая, сопливая, которая боялась папы и бабушки, или та толстая, вспылчивая, со шпалами на вороте, или вот эта, пархатая, вшивая?»

Желание счастья ушло, но появилось множество мечтаний: убить вшей... добраться до щелки и подышать воздухом... помочиться... помыть хотя бы одну ногу... и желание, жившее во всем теле, – пить.

Ее втокнули в вагон, и она, оглянувшись в полутьме, казавшейся ей поначалу тьмой, услышала негромкий смех.

– Здесь смеются сумасшедшие? – спросила она.

– Нет, – ответил мужской голос. – Здесь рассказывают анекдот.

Кто-то меланхолически произнес:

– Еще одна еврейка попала в наш несчастный эшелон.

Софья Осиповна, стоя у дверей, жмурясь, чтобы привыкнуть к темноте, отвечала на вопросы.

Сразу же, вместе с плачем, стонами, зловонием Софью Осиповну вдруг поглотила атмосфера с детства забытых слов, интонаций...

Софья Осиповна хотела шагнуть внутрь вагона, но не смогла. Она нащупала в темноте худенькую ногу в коротенькой штанине и сказала:

– Прости, мальчик, я тебя ушибла?

Но мальчик ничего не ответил ей. Софья Осиповна сказала в темноту:

– Мамаша, может быть, вы подвинете своего немого молодого человека? Я ведь не могу стоять все время на ногах.

Из угла истерический актерский мужской голос проговорил:

– Надо было дать заранее телеграмму, тогда бы подготовили номер с ванной.

Софья Осиповна раздельно сказала:

– Дурак.

Женщина, чье лицо можно было уже различить в полумраке, сказала:

– Садитесь возле меня, тут масса места.

Софья Осиповна ощутила, что пальцы ее быстро, мелко дрожат.

Это был мир, знакомый ей с детства, мир еврейского местечка, и она ощутила, как все изменилось в этом мире.

В вагоне ехали рабочие из артелей, радиомонтер, студентки педтехникума, преподаватели профшкол, инженер с консервного завода, зоотехник, девушка – ветеринарный врач. Раньше местечко не знало таких профессий. Но ведь Софья Осиповна не изменилась, та же, что когда-то боялась папы и бабушки. И, может быть, этот новый мир такой же неизменный? А в общем, не все ли равно: еврейское местечко, новое ли, старое ли, катится под откос, в бездну.

Она услышала, как молодой женский голос сказал:

– Современные немцы – это дикари, они даже не слышали о Генрихе Гейне.

Из другого угла мужской голос насмешливо произнес:

– А в итоге дикари нас везут, как скотину. Чем уж нам помог этот Гейне.

Софью Осиповну выспрашивали о положении на фронтах, и так как она ничего хорошего не рассказала, ей объяснили, что ее сведения неверные, и она поняла, что в телячьем вагоне есть своя стратегия, основанная на страстной жажде существовать на земле.

– Неужели вы не знаете, что Гитлеру послан ультиматум немедленно выпустить всех евреев?

Да, да, конечно, это так. Когда чувство коровьей тоски, обреченности сменялось режущим ощущением ужаса, на помощь людям приходил бессмысленный опиум – оптимизм.

Вскоре интерес к Софье Осиповне прошел, и она сделалась путницей, не знающей, куда и зачем везут ее, такой же, как и все остальные. Имя и отчество ее никто не спрашивал, фамилию ее никто не запомнил.

Софья Осиповна даже удивилась, – всего несколько дней понадобилось, чтобы пройти обратную дорогу от человека до грязной и несчастной, лишенной имени и свободы скотины, а ведь путь до человека длился миллионы лет.

Ее поражало, что в огромном постигшем людей бедствии их продолжают волновать житейские мелочи, что люди раздражаются друг против друга по пустякам.

Пожилая женщина шепотом говорила ей:

– Посмотри, докторша, на ту гранд-даму, она сидит у шелки, как будто только ее ребенку нужно дышать кислородом. Пани едет на лиман.

Ночью поезд останавливался два раза, и все вслушивались в скрипящие шаги охраны, ловили невнятные русские и немецкие слова.

Ужасно звучал язык Гёте на ночных русских полустанках, но еще более зловещей казалась родная русская речь людей, служивших в немецкой охране.

К утру Софья Осиповна страдала вместе со всеми от голода и мечтала о плотке воды. И мечта ее была куцая, робкая, ей представлялась мятая консервная банка, на дне которой немного теплой жижи. Она почесывалась быстрым, коротким движением, каким собака вычесывает блох.

Теперь, казалось Софье Осиповне, она поняла различие между жизнью и существованием. Жизнь – кончилась, оборвалась, а существование длилось, продолжалось. И хоть было оно жалким, ничтожным, мысль о насильственной смерти наполняла душу ужасом.

Пошел дождь, несколько капель залетели в решетчатое окошечко. Софья Осиповна оторвала от подола своей рубахи тонкую полосу и придвинулась к стенке вагона, и в том месте, где имелась небольшая щель, просунула материю, ждала, пока лоскут напитается дождевой влагой. Потом она втянула лоскут в щель и стала жевать прохладную мокрую тряпку. А у стен и по углам вагона люди тоже стали рвать лоскуты, и Софья Осиповна ощутила гордость, – это она изобрела способ ловить, выуживать дождь.

Мальчик, которого Софья Осиповна толкнула ночью, сидел недалеко от нее и следил, как люди запускают тряпки в щели между дверью и полом. В неясном свете она увидела его худое, остроносое лицо. Ему, видимо, было лет шесть. Софья Осиповна подумала, что за все время ее пребывания в вагоне с мальчиком этим никто не заговаривал и он сидел неподвижно, не сказал ни с кем ни слова. Она протянула ему мокрую тряпку и сказала:

– Возьми-ка, паренек.

Он молчал.

– Бери, бери, – говорила она, и он нерешительно протянул руку.

– Как тебя зовут? – спросила она.

Он тихо ответил:

– Давид.

Соседка, Муся Борисовна, рассказала, что Давид приехал погостить к бабушке из Москвы и война отрезала его от матери. Бабушка погибла в гетто, а родственница Давида, Ревекка Бухман, которая едет с больным мужем, даже не позволяет мальчику сидеть возле себя.

К вечеру Софья Осиповна много наслушалась разговоров, рассказов, споров, сама говорила и спорила. Обращаясь к своим собеседникам, она говорила:

– Бридер иден⁵, вот что я вам скажу.

Многие с надеждой ждали конца дороги, считали, что везут их в лагерь, где каждый будет работать по специальности, а больные попадут в инвалидные бараки. Все почти непрерывно говорили об этом. А тайный ужас, немой, молчаливый вой, не проходил, жил в душе.

Софья Осиповна узнала из рассказов, что не только человеческое живет в человеке. Ей рассказали о женщине, которая посадила парализованную сестру в корыто и вытащила ее зимней ночью на улицу, заморозила ее. Ей рассказали, что были матери, которые убивали своих детей, и что в вагоне едет такая женщина. Ей рассказали о людях, подобно крысам, тайно живших месяцами в канализационных трубах и питавшихся нечистотами, готовых на любое страдание, лишь бы существовать.

Жизнь евреев при фашизме была ужасна, а евреи не были ни святыми, ни злодеями, они были людьми.

Чувство жалости, которое испытывала Софья Осиповна к людям, возникало у нее особенно сильно, когда она смотрела на маленького Давида.

Он обычно молчал и сидел неподвижно. Изредка мальчик доставал из кармана мятую спичечную коробку и заглядывал в нее, потом снова прятал коробку в карман.

Несколько суток Софья Осиповна совершенно не спала, ей не хотелось. И в эту ночь она без сна сидела в зловонной темноте. «А где сейчас Женя Шапошникова?» – вдруг подумала она. Она слушала бормотания, вскрикивания и думала, что в спящих, воспаленных головах сейчас с ужасной живой силой стоят картины, которые словами уже не передать. Как сохранить, как запечатлеть их, – если человек останется жить на земле и захочет узнать о том, что было?..

«Злата! Злата!» – закричал рыдающий мужской голос.

⁵ Братья евреи (*идиши*).

44

...В сорокалетнем мозгу Наума Розенберга совершалась привычная ему бухгалтерская работа. Он шел по дороге и считал: на позавчерашних сто десять – вчерашних шестьдесят один, на них шестьсот двенадцать за пятидневку, итого семьсот восемьдесят три... Жаль, что он не вел учет мужчин, детей, женщин... Женщины горят легче. Опытный брэннер кладет тела так, чтобы костистые, богатые золой старики горели рядом с телами женщин. Сейчас дадут команду – свернуть с дороги, – вот так же командовали год назад тем, которых они сейчас откапывают и начнут вытаскивать из ям крючьями, привязанными к веревкам. Опытный брэннер по неразрытому холму может определить, сколько тел лежит в яме – пятьдесят, сто, двести, шестьсот, тысяча... Шарфюрер Эльф требует, чтобы тела называли фигурами, – сто фигур, двести фигур, но Розенберг зовет их: люди, убитый человек, казненный ребенок, казненный старик. Он зовет их так про себя, иначе шарфюрер впустит в него девять граммов металла, но он упорно бормочет: вот ты выходишь из ямы, казненный человек... не держись руками за маму, дитя, вы будете вместе, далеко ты не уйдешь от нее... «Что ты там бормочешь?» – «Я ничего, это вам кажется». И он бормочет – борется, в этом его маленькая борьба... Позавчера была яма, где лежало восемь человек. Шарфюрер кричит: «Это издевательство, команда в двадцать брэннеров сжигает восемь фигур». Он прав, но что делать, если в деревушке было две еврейских семьи. Приказ есть приказ – раскопать все могилы и сжечь все тела... Вот они свернули с дороги, идут по траве, и вот в сто пятнадцатый раз посреди зеленой поляны серый холм – могила. Восемь копают, четверо валят дубовые стволы и распиливают их на поленья длиной в человеческое тело, двое разбивают их топорами и клиньями, двое подносят с дороги сухие старые доски, растопку, банки с бензином, четверо готовят место для костра, роют канаву для подувала, – надо сообразить, откуда ветер.

Сразу исчезает запах лесной прели, и охрана смеется, ругается, зажимает носы, шарфюрер плюет, отходит на опушку. Брэннеры бросают лопаты, берутся за крючья, завязывают тряпками рты и носы... Здравствуйте, дедушка, опять вам пришлось посмотреть на солнце; какой вы тяжелый... Убитая мама и трое детей – два мальчика, один уже школьник, а девочка тридцать девятого года рождения, был рахит, – ничего, теперь его нет... Не держись руками за маму, дитя, она никуда не уйдет... «Сколько фигур?» – кричит с опушки шарфюрер. «Девятнадцать» – и тихо про себя: «убитых людей». Все ругаются, – полдня прошло. Зато на прошлой неделе раскопали могилу – двести женщин, все молодые. Когда сняли верхний слой земли, над могилой встал серый пар, и охрана смеялась: «Горячие бабы!» Поверх канавок, по которым тянет воздух, кладут сухие дрова, потом дубовые поленья, они дают богатый жаркий уголь, потом убитые женщины, потом дрова, потом убитые мужчины, снова дрова, потом бесхозные куски тел, потом банку бензина, потом в середку авиационную зажигательную бомбу, потом шарфюрер командует, и охрана заранее улыбается, – брэннеры поют хором. Костер горит! Потом золу кидают в яму. Снова тихо. Было тихо, и стало тихо. А потом их привели в лес, и они не увидели холма среди зелени, шарфюрер приказал копать яму – четыре на два; все поняли, – они выполнили задание: восемьдесят девять деревень, на них восемнадцать местечек, на них четыре поселка, на них два районных городка, на них три совхоза – два зерновых, один молочный, – итого сто шестнадцать населенных пунктов, сто шестнадцать холмов раскопали брэннеры... Пока бухгалтер Розенберг копает яму для себя и других брэннеров, он подсчитывает: последняя неделя – семьсот восемьдесят три, перед этим три декады в сумме дали четыре тысячи восемьсот двадцать шесть сожженных человеческих тел, общий итог – пять тысяч шестьсот девять сожженных тел. Он считает, считает, и от этого незаметно идет время, он выводит среднее число фигур, нет, не фигур, число человеческих тел, – пять тысяч шестьсот девять делится на число могил – сто шестнадцать, получается сорок восемь и тридцать пять

сотых человеческих тел в братской могиле, округляя, это будет сорок восемь человеческих тел в могиле. Если учесть, что работало двадцать бреннеров в течение тридцати семи дней, то на одного бреннера приходится... «Стройся», – кричит старший охранник, и шарфюрер Эльф зычно командует: «Ин ди грубе марш!» Но он не хочет в могилу. Он бежит, падает, снова бежит, он бежит лениво, бухгалтер не умеет бегать, но его не смогли убить, и он лежит в лесу на траве, в тишине и не думает о небе над головой, ни о Златочке, которую убили беременной на шестом месяце, он лежит и считает то, что не успел досчитать в яме: двадцать бреннеров, тридцать семь дней, итого бреннеро-дней... – это раз; два – надо учесть, сколько кубов дров на человека; три – надо учесть, сколько часов горения в среднем на одну фигуру, сколько...

Через неделю его поймали полицейские и отвели в гетто.

И вот здесь, в вагоне, он все время бормочет, считает, делит, множит. Годовой отчет! Он должен его сдать Бухману, главному бухгалтеру Госбанка. И вдруг ночью, во сне, взрывая коросту, покрывшую его мозг и сердце, хлынули обжигающие слезы.

«Злата! Злата!» – зовет он.

45

Окно ее комнаты выходило на проволочную ограду гетто. Ночью библиотекаря Муся Борисовна проснулась, приподняла край занавески и увидела, как двое солдат тащили пулемет; на его полированном теле поблескивали синие пятна лунного света, очки шедшего впереди офицера поблескивали. Она слышала негромкий гул моторов. Машины приближались к гетто с потушенными фарами, и тяжелая ночная пыль серебрилась, клубясь вокруг их колес, – они, словно божества, плыли в облаках.

В эти тихие лунные минуты, когда подразделения СС и СД, отряды украинских полицейских, подсобные части, автомобильная колонна резерва Управления имперской безопасности подошли к воротам спящего гетто, женщина измерила рок двадцатого века.

Лунный свет, мерное величавое движение вооруженных подразделений, черные могучие грузовики, заячье постукивание ходиков на стене, замершие на стуле кофточка, лифчик, чулки, теплый запах жилья, – все несоединимое соединилось.

46

Дочь арестованного и погибшего в 1937 году старого доктора Карасика, Наташа, в вагоне время от времени пробовала петь. Иногда она напевала и ночью, но люди не сердились на нее.

Она была застенчива, всегда говорила едва слышным голосом, опустив глаза, ходила в гости только к близким родственникам и удивлялась смелости девушек, танцевавших на вечерах.

В час отбора людей, подлежащих уничтожению, ее не зачислили в кучку ремесленников и врачей, которым сохранили их полезную жизнь, – существование вянущей, поседевшей девушки было не нужно.

Полицейский подтолкнул ее к базарному пыльному холмику, на котором стояли три пьяных человека, одного из них, ныне начальника полиции, она знала до войны, – он был комендантом какого-то железнодорожного склада. Она даже не поняла, что эти трое творят приговор жизни и смерти народу; полицейский пихнул ее в гудящую тысячную толпу признанных бесполезными детей, женщин, мужчин.

Потом они шли к аэродрому под последним для них августовским зноем, мимо пыльных придорожных яблонь, в последний раз пронзительно кричали, рвали на себе одежду, молились. Наташа шла молча.

Никогда она не думала, что кровь бывает такой поразительно красной под солнцем. Когда на миг смолкали крики, выстрелы, хрипы, – из ямы слышалось журчание крови, – она бежала по белым телам, как по белым камням.

Потом было самое нестрашное, – негромкий треск автомата и палач с простым, незловивым, утомленным работой лицом, терпеливо ожидавший, пока она робко подойдет к нему поближе, станет на край журчащей ямы.

Ночью она, выжав намокшую рубашку, вернулась в город, – мертвые не выходят из могилы, значит, она была жива.

И вот когда Наташа пробиралась дворами в гетто, она увидела народное гулянье на площади – смешанный духовой и струнный оркестр играл печальную и мечтательную мелодию всегда нравившегося ей вальса, и при тусклой луне и тусклых фонарях по пыльной площади кружились пары – девушки, солдаты, шарканье ног смешивалось с музыкой. Увядшей девушке в этот миг стало на душе радостно, уверенно, – и она все пела и пела потихоньку в предчувствии ждущего ее счастья, а иногда, если никто не видел, даже пробовала танцевать вальс.

47

Все, что было после начала войны, Давид помнил плохо. Но как-то ночью, в вагоне, пронзительно ясно в мозгу мальчика возникло недавно пережитое.

В темноте бабушка ведет его к Бухманам. Небо в мелких звездах, а край неба светлый, зеленовато-лимонный. Листья лопуха касаются щеки, словно чьи-то холодные влажные ладони.

На чердаке, в убежище, за фальшивой кирпичной стеной сидят люди. Черные листы кровельного железа днем раскаляются. Иногда чердачное убежище заполняется гарным духом. Гетто горит. Днем в убежище все лежат неподвижно. Монотонно плачет Светланочка, дочь Бухманов. У Бухмана больное сердце, днем его все считают мертвым. А ночью он ест и ссорится с женой.

И вдруг лай собаки. Нерусские голоса «Asta! Asta! Wo sind die Juden?», и над головой нарастает гроыхание, немцы вылезли через слуховое окно на крышу.

Потом гремевший в черном жестяном небе немецкий кованый гром затих. Под стенкой слышны лукавые, несильные удары – кто-то выстукивал стены.

В убежище наступила тишина, страстная тишина, с напряжившимися мышцами плеч и шеи, с выпученными от напряжения глазами, с оскаленными ртами.

Маленькая Светлана под вкрадчивое постукивание по стене затянула свою жалобу без слов. Плач девочки вдруг, внезапно оборвался, Давид оглянулся в ее сторону и встретил бешеные глаза матери Светланы, Ревекки Бухман.

После этого раз или два на короткий миг ему представились эти глаза и откинутая, словно у матерчатой куклы, голова девочки.

А вот то, что было до войны, помнилось подробно, вспоминалось часто. В вагоне он, словно старик, жил прошлым, лелеял и любил его.

48

Двенадцатого декабря, в день рождения Давида, мама купила ему книгу-сказку. На лесной поляне стоял серенький козлик, рядом тьма леса казалась особо зловещей. Среди черно-коричневых стволов, мухоморов и поганок видна была красная, оскаленная пасть и зеленые глаза волка.

О неминуемом убийстве знал один лишь Давид. Он ударял кулаком по столу, прикрывал ладонью от волка-полянку, но он понимал, что не может оградить козленка.

Ночью он кричал:

– Мама, мама, мама!

Мать, проснувшись, подходила к нему, как облако в ночном мраке, – и он блаженно зевал, чувствуя, что самая большая сила в мире защищает его от тьмы ночного леса.

Когда он стал старше, его пугали красные собаки из «Книги джунглей». Как-то ночью комната наполнилась красными хищниками, и Давид пробрался босыми ногами по выступавшему ящику комода в постель к матери.

Когда у Давида бывала высокая температура, у него появлялся один и тот же бред: он лежал на песчаном морском берегу, и крошечные, величиной с самый маленький мизинчик волны щекотали его тело. Вдруг на горизонте поднималась синяя бесшумная гора воды, она все нарастала, стремительно приближалась. Давид лежал на теплом песочке, черно-синяя гора воды надвигалась на него. Это было страшной волка и красных собак.

Утром мама уходила на работу, он шел на черную лестницу и выливал в банку из-под крабовых консервов чашку молока, об этом знала худая побирушка-кошка с тонким, длинным хвостом, с бледным носом и заплаканными глазами. Однажды соседка сказала, что на рассвете приезжали люди с ящиком и отвратительную кошку-нищенку, слава богу, наконец увезли в институт.

– Куда я пойду, где этот институт? Ведь это совершенно немыслимо, забудь ты об этой несчастной кошке, – говорила мама и смотрела в его умоляющие глаза. – Как ты будешь жить на свете? Нельзя быть таким ранимым.

Мать хотела его отдать в детский летний лагерь, он плакал, умолял ее, всплескивал в отчаянии руками и кричал:

– Обещаю тебе поехать к бабушке, только не в этот лагерь!

Когда мать везла его к бабушке на Украину, он в поезде почти ничего не ел, – ему казалось стыдно кушать крутое яйцо или взять из засаленной бумажки котлету.

У бабушки мама пожила с Давидом пять дней и собралась обратно на работу. Он простился с ней без слез, только так сильно обнял руками за шею, что мама сказала:

– Задушишь, глупенький. Здесь столько клубники дешевой, а через два месяца я приеду за тобой.

Возле дома бабушки Розы была остановка автобуса, ходившего из города на кожевенный завод. По-украински остановка называлась – зупынка.

Покойный дедушка был бундовцем, знаменитым человеком, он когда-то жил в Париже. Бабушку за это уважали и часто выгоняли со службы.

Из открытых окон слышалось радио: «Увага, увага, говорить Киев...»

Днем улица была пустынна, она оживлялась, когда шли по ней студентки и студенты кожевенного техникума, кричали друг другу через улицу: «Белла, ты сдала? Яшка, приходи готовить марксизм!»

К вечеру возвращались домой рабочие кожзавода, продавцы, монтер из городского радицентра Сорока. Бабушка работала в местном поликлиники.

Давид в отсутствие бабушки не скучал.

Возле дома, в старом, никому не принадлежавшем фруктовом саду, среди дряхлых, бесплодных яблонь, паслась пожилая коза, бродили меченные краской куры, всплывали по травинкам немые муравьи. Шумно, уверенно вели себя в саду горожане – вороны, воробьи, и, как робкие деревенские дивчины, чувствовали себя залетевшие в сад полевые птицы, чьих имен Давид не знал.

Он услышал много новых слов: глечик... дикт... калюжа... ряженка... ряска... пужало... лядаче... кошенья... В этих словах он узнавал отзвуки и отражения родной ему русской речи. Он услышал еврейскую речь и был поражен, когда мама и бабушка заговорили при нем по-еврейски. Он никогда не слышал, чтобы мать говорила на языке, непонятном ему.

Бабушка привела Давида в гости к своей племяннице, толстой Ревекке Бухман. В комнату, поразившую Давида обилием плетеных белых занавесок, вошел главный бухгалтер Госбанка Эдуард Исаакович Бухман, одетый в гимнастерку и в сапоги.

– Хаим, – сказала Ревекка, – вот наш московский гость, сын Раи, – и тут же прибавила: – Ну, поздоровайся с дядей Эдуардом.

Давид спросил главного бухгалтера:

– Дядя Эдуард, почему тетя Ревекка вас называет Хаим?

– О, вот это вопрос, – сказал Эдуард Исаакович. – Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы – Эдуарды?

Потом заскреблась кошка, и когда, наконец, ей удалось когтями распахнуть дверь, все увидели посреди комнаты девочку с озабоченными глазами, сидевшую на горшке.

В воскресенье Давид пошел с бабушкой на базар. По дороге шли старухи в черных платках и заспанные, угрюмые железнодорожные проводницы, надменные жены районных руководителей с синими и красными сумками, шли деревенские женщины в сапогах-чоботах.

Еврейские нищие кричали сердитыми, грубыми голосами – казалось, им подавали милостыню не из жалости, а от страха. А по булыжной мостовой ехали колхозные грузовики-полупотрки с мешками картошки и отрубей, с плетеными клетками, в которых сидели куры, вскрикивавшие на ухабах, как старые, болезненные еврейки.

Больше всего привлекал и приводил в отчаяние, ужасал мясной ряд. Давид увидел, как с подводы стаскивали тело убитого теленка с полуоткрытым бледным ртом, с курчавой белой шерсткой на шее, запачканной кровью.

Бабушка купила пестренькую молодую курицу и понесла ее за ноги, связанные белой тряпочкой, и Давид шел рядом и хотел ладонью помочь курице поднять повыше бессильную голову, и поражался, откуда в бабушке взялась такая нечеловеческая жестокость.

Давид вспомнил непонятные ему мамины слова о том, что родня со стороны дедушки – интеллигентные люди, а вся родня со стороны бабушки – мещане и торгаши. Наверное, потому бабушка не жалела курицу.

Они зашли во дворик, к ним вышел старичок в ермолке, и бабушка заговорила с ним по-еврейски. Старичок взял курицу на руки, стал бормотать, курица доверчиво кудахнула, потом старик сделал что-то очень быстрое, незаметное, но, видимо, ужасное, швырнул курицу через плечо – она вскрикнула и побежала, хлопая крыльями, и мальчик увидел, что у нее нет головы, – бежало одно безголовое куриное туловище, – старичок убил ее. Пробежав несколько шагов, туловище упало, царапая сильными, молодыми лапами землю, и перестало быть живым.

Ночью мальчику казалось, что в комнату проник сырой запах, идущий от убитых коров и их зарезанных детей.

Смерть, жившая в нарисованном лесу, где нарисованный волк подкрадывался к нарисованному козленку, ушла в этот день со страниц сказки. Он почувствовал впервые, что и он смертен, не по-сказочному, не по книжке с картинкой, а в самом деле, с невероятной очевидностью.

Он понял, что когда-нибудь умрет его мама. Смерть придет к нему и к ней не из сказочного леса, где в полумраке стоят ели, – она придет из этого воздуха, из жизни, из родных стен, и от нее нельзя спрятаться.

Он ощутил смерть с той ясностью и глубиной, которая доступна лишь маленьким детям да великим философам, чья сила мысли приближается к простоте и силе детского чувства.

От стульев с просиженными сиденьями, на которые были положены фанерные дощечки, от толстого платяного шкафа шел спокойный, добрый запах, такой же, как от бабушкиных волос, платья. Теплая, обманно-спокойная ночь стояла вокруг.

49

В это лето жизнь сошла с граней кубиков, с картинок, нарисованных в букварях. Он увидел, какой синевой горит черное крыло селезня и сколько веселой насмешливости в его улыбке и побрякивании. Белые черешни светлели среди листвы, и он влез по шершавому стволу и дотянулся до ягоды, сорвал ее. Он подошел к тельцу, привязанному на пустыре, и протянул ему кусочек сахара, – окаменев от счастья, увидел милые глаза огромного младенца.

Рыжий Пынчик подошел к Давиду и, ослепительно картавя, предложил:

– Давай деррруться!

Евреи и украинцы в бабушкином дворе походили друг на друга. Старуха Партынская заходила к бабушке и протяжно говорила:

– Чи вы чулы, Роза Нусиновна, Соня едет в Киев, опять помирилась с мужем.

Бабушка, всплескивая руками, смеясь, отвечала:

– Ну, вы бачили комедию.

Этот мир казался Давиду милей, лучше, чем улица Кирова, где в асфальтированном колодце гуляла с пуделем завитая, раскрашенная старуха по фамилии Драко-Дракон, где возле парадного по утрам стоял автомобиль «ЗИС-101», где соседка в пенсне, с папиросой в крашенных губах с бешенством шептала над коммунальной газовой плитой: «Троцкистка, ты опять сдвинула с конфорки мое кофе».

Мама его вела ночью с вокзала. Они прошли по освещенной луной булыжной улице мимо белого костела, где в нише стоял худенький, ростом с двенадцатилетнего мальчика, склоненный, в терновом венке Иисус Христос, мимо педтехникума, где когда-то училась мама.

Через несколько дней, в пятницу вечером, Давид увидел, как старики шли в синагогу в золотистой пыли, поднятой на пустыре босыми футболистами.

Пронзительная прелесть родилась из этого соединения украинских белых хат, скрипящих колодезных журавлей и ветхих узоров на бело-черных молитвенных одеждах, кружащих голову бездонной библейской стариной. И тут же рядом «Кобзарь», Пушкин и Толстой, учебники физики, «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», приехавшие с гражданской войны сыновья сапожников и портных, тут же рядом инструктора райкомов, склочники и трибуны из райпрофсоветов, водители грузовиков, агенты уголовного розыска, лекторы по марксизму.

Приехав к бабушке, Давид узнал, что мама его несчастна. Первой ему сказала об этом толстая, с такими красными щеками, словно ей всегда стыдно, тетя Рахиль:

– Бросить такую чудную женщину, как твоё мать, чтоб вин уже не дождал.

А через день Давид уже знал, что папа его ушел к русской женщине, которая старше его на восемь лет, что он зарабатывает в филармонии две с половиной тысячи в месяц, что мама отказалась от алиментов и живет только на то, что сама зарабатывает, – триста десять рублей в месяц.

Давид однажды показал бабушке кокон, хранившийся в спичечной коробке.

Но бабушка сказала:

– Фе, зачем тебе эта гадость, выкинь ее скоренько.

Два раза Давид ходил на товарную станцию, смотрел, как грузят в вагоны быков, баранов, свиней. Он слышал, как бык громко замычал, то ли он жаловался, то ли просил жалости. Душа мальчика наполнилась ужасом, а мимо вагонов шли железнодорожные рабочие в оборванных, замасленных куртках и не повернули утомленных, худых лиц в сторону кричащего быка.

Через неделю после приезда Давида бабушкина соседка Дебора, жена рабочего-слесаря с завода сельскохозяйственных машин Лазаря Янкелевича, родила первенца. В прошлом году Дебора поехала гостить к сестре в Кодыму, и ее во время грозы ударило молнией; ее откачи-

вали, засыпали землей, и она два часа лежала, как неживая, а этим летом родила ребенка. Пятнадцать лет она не имела детей. Об этом бабушка рассказала Давиду, добавила:

– Так говорят люди, но ей, кроме того, делали в прошлом году операцию.

И вот бабушка с Давидом зашли к соседям.

– Ну, Лузя, ну, Деба, – сказала бабушка, поглядев на двуногого зверька, лежавшего в бельевой корзине. Она произнесла эти слова каким-то грозным голосом, точно предупреждая, чтобы отец и мать никогда не относились легкомысленно к случившемуся чуду.

В маленьком доме у железной дороги жила старуха Соркина с двумя сыновьями, глухими парикмахерами. Их боялись все соседи, и старая Партынская рассказывала Давиду:

– Воны тихи, тихи, докы не напьются. А як выпьют – кыдаються друг на друга, пидхва-
тят ножи и крычать, верещать, як кони!

Как-то бабушка послала с Давидом библиотекарше Мусе Борисовне баночку сметаны... Комнатка у нее была крошечная. На столе стояла маленькая чашечка, к стене была прибита маленькая полочка, на ней стояли маленькие книжки, а над кроваткой висела маленькая фотография. На фотографии была снята мама с Давидом, завернутым в пеленочку. Когда Давид посмотрел на фотографию, Муся Борисовна покраснела и сказала:

– Мы с твоей мамой сидели на одной парте.

Он прочел ей вслух басню про стрекозу и муравья, а она прочитала ему тихим голосом начало стихотворения: «Плакала Саша, как лес вырубали...»

Утром двор гудел: у Соломона Слепого ночью украли шубу, зашитую на лето и пересыпанную нафталином.

Когда бабушка узнала о пропаже шубы у Слепого, она сказала:

– Слава богу, хоть чем-нибудь этого разбойника наказать.

Давид узнал, что Слепой был доносчиком и, когда происходило изъятие валюты и золотых пятерок, он выдал много людей. А в тридцать седьмом году он снова выдавал людей. Из тех, кого он выдал, двое были расстреляны, а один умер в тюремной больнице.

Ужасные ночные шорохи, невинная кровь и пение птиц – все соединилось в кипящую, обжигающую кашу. Понять ее Давид смог бы через много десятков лет, но жгущую прелесть и ужас ее он день и ночь ощущал своим маленьким сердцем.

50

Для забоя зараженного скота проводятся подготовительные меры: транспортировка, концентрация в пунктах забоя, инструктаж квалифицированных рабочих, открытие траншей и ям.

Население, помогающее властям доставлять зараженный скот на пункты забоя либо помогающее ловить разбежавшуюся скотину, делает это не из ненависти к телятам и коровам, а из чувства самосохранения.

При массовом забое людей кровавая ненависть к подлежащим уничтожению старикам, детям, женщинам также не охватывает население. Поэтому кампанию по массовому забою людей необходимо подготовить по-особому. Здесь недостаточно чувства самосохранения, здесь необходимо возбудить в населении отвращение и ненависть.

Именно в такой атмосфере отвращения и ненависти готовилось и проводилось уничтожение украинских и белорусских евреев. В свое время на этой же земле, мобилизовав и раздув ярость масс, Сталин проводил кампанию по уничтожению кулачества как класса, кампанию по истреблению троцкистско-бухаринских выродков и диверсантов.

Опыт показал, что большая часть населения при таких кампаниях становится гипнотически послушна всем указаниям властей. В массе населения есть меньшая часть, создающая воздух кампании: кровавые, радующиеся и злорадствующие, идейные идиоты либо заинтересованные в сведении личных счетов, в грабеже вещей и квартир, в открывающихся вакансиях. Большинство людей, внутренне ужасаясь массовым убийствам, скрывает свое душевное состояние не только от своих близких, но и от самих себя. Эти люди заполняют залы, где происходят собрания, посвященные истребительным кампаниям, и, как бы ни были часты эти собрания, вместительны эти залы, – почти не бывало случая, чтобы кто-либо нарушил молчаливое единогласие голосования. И, конечно, еще меньше бывало случаев, когда человек при виде подозреваемой в бешенстве собаки не отвел бы глаз от ее молящего взора, а приютил бы эту подозреваемую в бешенстве собаку в доме, где живет со своей женой и детьми. Но все же были такие случаи.

Первая половина двадцатого века будет отмечена как эпоха великих научных открытий, революций, грандиозных социальных преобразований и двух мировых войн.

Но первая половина двадцатого века войдет в историю человечества как эпоха поголовного истребления огромных слоев европейского населения, основанного на социальных и расовых теориях. Современность с понятной скромностью молчит об этом.

Одной из самых удивительных особенностей человеческой натуры, вскрытой в это время, оказалась покорность. Были случаи, когда к месту казни устанавливались огромные очереди и жертвы сами регулировали движение очередей. Были случаи, когда ожидать казни приходилось с утра до поздней ночи, в течение долгого жаркого дня, и матери, знавшие об этом, предусмотрительно захватывали бутылочки с водой и хлеб для детей. Миллионы невинных, чувствуя приближение ареста, заранее готовили сверточки с бельем, полотенчиком, заранее прощались с близкими. Миллионы жили в гигантских лагерях, не только построенных, но и охраняемых ими самими.

И уже не десятки тысяч и даже не десятки миллионов людей, а гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных. Но не только покорными свидетелями; когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам. В этой огромной покорности людей открылось нечто неожиданное.

Конечно, было сопротивление, было мужество и упорство обреченных, были восстания, была самопожертвенность, когда для спасения далекого, незнакомого человека другой человек рисковал своей жизнью и жизнью своей семьи. И все же неоспоримой оказалась массовая покорность!

О чем говорит она? О новой черте, внезапно возникшей, появившейся в природе человека? Нет – эта покорность говорит о новой ужасной силе, воздействовавшей на людей. Сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух.

Человеческая душа, ставшая на службу фашизму, объявляет злое, несущее гибель рабство единственным и истинным добром. Не отказываясь от человеческих чувств, душа-предательница объявляет преступления, совершенные фашизмом, высшей формой гуманности, соглашается делить людей на чистых, достойных и на нечистых, не достойных жизни. Страсть к самосохранению выразилась в соглашательстве инстинкта и совести.

В помощь инстинкту приходит гипнотическая сила мировых идей. Они призывают к любым жертвам, к любым средствам ради достижения величайшей цели – грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса.

И наряду с инстинктом жизни, наряду с гипнотической силой великих идей работала третья сила – ужас перед беспредельным насилием могущественного государства, перед убийством, ставшим основой государственной повседневности.

Насилие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического, религиозного преклонения, восторга.

Чем иным можно объяснить рассуждения некоторых мыслящих, интеллигентных евреев о том, что убийство евреев необходимо для счастья человечества и что они, сознав это, готовы вести на убийные пункты своих собственных детей, – ради счастья родины они готовы принести жертву, которую когда-то совершил Авраам.

Чем иным можно объяснить то, что поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца...

Одним из средств воздействия фашизма на человека является его полное или почти полное ослепление. Человек не верит, что его ждет уничтожение. Удивительно, насколько велик был оптимизм стоявших на краю могилы. На почве безумной, порой нечистой, а порой подлой надежды возникала покорность, соответствующая этой надежде, – жалкая, а порой и подлая.

Варшавское восстание, восстание в Трешлине, восстание в Собиборе, малые бунты и восстания брэннеров – возникали из суровой безнадежности.

Но, конечно, полная и ясная безнадежность порождала не одни восстания и сопротивление, она порождала и неведомое нормальному человеку стремление быть подвергнутым казни.

Ведь люди спорили из-за очереди к кровавому рву, и в воздухе слышался возбужденный, безумный, почти ликующий голос:

– Евреи, не бойтесь, ничего страшного, пять минут – и готово!

Все, все рождало покорность – и безнадежность, и надежда. Ведь люди одинаковой судьбы не одинаковы по характеру.

Нужно задуматься над тем, что должен пережить и испытать человек, чтобы дойти до счастливого сознания скорой казни. Об этом следует задуматься многим людям, особенно тем, кто склонен поучать, как следовало бороться в условиях, о которых, по счастливому случаю, этот пустой учитель не имеет представления.

Установив покорность человека перед беспредельным насилием, нужно сделать последний вывод, имеющий значение для понимания человека, его будущего.

Претерпевает ли природа человека изменение, становится ли она другой в котле тоталитарного насилия? Теряет ли человек присущее ему стремление быть свободным? В ответе этом – судьба человека и судьба тоталитарного государства. Изменение самой природы человека сулит всемирное и вечное торжество диктатуре государства, в неизменности человеческого стремления к свободе – приговор тоталитарному государству.

Вот великое восстание в Варшавском гетто, в Треблинке и Собиборе и огромное партизанское движение, полыхавшее в десятках поработанных Гитлером стран, послесталинские Берлинское восстание в 1953 году и Венгерское восстание 1956 года, восстания, охватившие сибирские и дальневосточные лагеря после смерти Сталина, возникшие в ту же пору польские волынки, студенческое движение протеста против подавления свободы мысли, прокатившееся по многим городам, забастовки на многих заводах показали неистребимость присущего человеку стремления к свободе. Оно было подавлено, но оно существовало. Человек, обращенный в рабство, становился рабом по судьбе, а не по природе своей.

Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить. Тоталитаризм не может отказаться от насилия. Отказавшись от насилия, тоталитаризм гибнет. Вечное, непрекращающееся, прямое или замаскированное, сверхнасилие есть основа тоталитаризма. Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего.

51

Электрическая машина ведет математические расчеты, запоминает исторические события, играет в шахматы, переводит книги с одного языка на другой. Она превосходит человека в способности быстро решать математические задачи, память ее безупречна.

Есть ли предел прогресса, создающего машину по образу и подобию человека? Видимо, нет этого предела.

Можно представить себе машину будущих веков и тысячелетий. Она будет слушать музыку, оценивать живопись, сама рисовать картины, создавать мелодии, писать стихи.

Есть ли предел ее совершенству? Сравнится ли она с человеком, превзойдет ли его?

Все новых и новых приростов электроники, веса и площадей будет требовать воспроизведение машиной человека.

Воспоминание детства... слезы счастья... горечь разлуки... любовь к свободе... жалость к больному щенку... мнительность... материнская нежность... мысли о смерти... печаль... дружба... любовь к слабым... внезапная надежда... счастливая догадка... грусть... беспричинное веселье... внезапное смятение...

Все, все воссоздаст машина! Но ведь площади всей земли не хватит для того, чтобы разместить машину, все увеличивающуюся в размере и весе, по мере того как она будет воссоздавать особенности разума и души среднего, незаметного человека.

Фашизм уничтожил десятки миллионов людей.

52

В просторном, светлом и чистом доме в лесной уральской деревне командир танкового корпуса Новиков и комиссар Гетманов заканчивали просмотр донесений командиров бригад, получивших приказ о выходе из резерва.

Бессонная работа последних дней сменилась тихим часом.

Новикову и его подчиненным, как и всегда в подобных случаях, казалось, что им не хватило времени для полного, совершенного овладения учебными программами. Но кончилась эпоха учения, овладения режимом работы моторов и ходовой части, артиллерийской техникой, оптикой, радиооборудованием; кончились тренировки в управлении огнем, оценке, выборе и распределении целей, выборе способа стрельбы, определении момента открытия огня, наблюдении разрывов, внесении поправок, смене целей.

Новый учитель – война – быстро подучит, подтянет отстающих, заполнит пробелы.

Гетманов потянулся к шкафику, стоявшему в простенке между окнами, постучал по нему пальцем и сказал:

– Эй, друг, выходи на передний край.

Новиков открыл дверцу шкафа, вынул бутылку коньяка и налил два синеватых толстых стаканчика.

Комиссар корпуса, раздумывая, произнес:

– Кого же нам славить?

Новиков знал, за кого полагалось выпить, потому Гетманов и спросил: «За кого пить?»

Мгновение поколебавшись, Новиков сказал:

– Давайте, товарищ комиссар корпуса, выпьем за тех, кого мы с вами в бой поведем, пусть воюют малой кровью.

– Правильно, прежде всего забота о вверенных кадрах, – проговорил Гетманов, – выпьем за наших хлопцев!

Они чокнулись, выпили.

Новиков с торопливостью, которую не мог скрыть, вновь налил рюмки и произнес:

– За товарища Сталина! За то, чтобы оправдать его доверие!

Он видел скрытую усмешку в ласковых, внимательных глазах Гетманова и, сердясь на себя, подумал: «Эх, заспешил».

Гетманов добродушно сказал:

– Что ж, ладно, за старичка, за батьку нашего. Доплыли до волжской воды под его водительством.

Новиков посмотрел на комиссара, – но что прочтешь на толстом, скуластом, улыбающемся лице умного сорокалетнего человека с прищуренными, веселыми и недобрыми глазами.

Гетманов вдруг заговорил о начальнике штаба корпуса генерале Неудобнове:

– Славный, хороший человек. Большевик. Сталинец настоящий. Теоретически подкован. Большой опыт руководящей работы. Выдержка большая. Я его помню по тридцать седьмому году. Его Ежов прислал произвести расчисточку в военном округе, а я, знаете, в ту пору сам не яслями заведовал... Но уж он поработал. Не дядя, а топор, по списку в расход пускал, не хуже Ульриха, Василь Васильича, оправдал доверие Николая Ивановича. Надо, надо его сейчас пригласить, а то еще обидится.

В тоне его как будто слышалось осуждение борьбы с врагами народа, борьбы, в которой, как знал Новиков, Гетманов участвовал. И снова Новиков глядел на Гетманова и не мог понять его.

– Да, – сказал медленно и неохотно Новиков, – кое-кто наломал в ту пору дров.

Гетманов махнул рукой.

– Пришла сегодня сводка генштабовская, жуткая: немец к Эльбрусу подходит, в Сталинграде спихивают наших в воду. И я прямо скажу, в этих делах есть наша доля, – по своим стреляли, перемолотили кадры.

Новиков внезапно ощутил прилив доверия к Гетманову, сказал:

– Да уж, ребята эти загубили замечательных людей, товарищ комиссар, много, много беды в армии натворили. Вот комкору Криворучко глаз на допросе выбили, а он следователю чернильницей башку разбил.

Гетманов сочувственно кивал и проговорил:

– Неудобнова нашего Лаврентий Павлович очень ценит. А уж Лаврентий Павлович в людях не ошибется, – умная головушка, ох, умная.

«Да-да», – протяжно подумал, не проговорил Новиков.

Они помолчали, прислушиваясь к негромким, шипящим голосам из соседней комнаты.

– Врешь, это наши носки.

– Как ваши, товарищ лейтенант, да вы что, опупели окончательно? – И тот же голос добавил, уже переходя на «ты»: – Куда кладешь, не трогай, это наши подворотнички.

– На-ка, товарищ младший политрук, какие же они ваши – смотри! – Это адъютант Новикова и порученец Гетманова разбирали белье своих начальников после стирки.

Гетманов проговорил:

– Я их, чертей, все время наблюдаю. Шли мы с вами, а они сзади идут, на стрельбах, в батальоне у Фатова. Я по камушкам перешел через ручей, а вы перескочили и ногой дрыгнули, чтоб грязь сбить. Смотрю – мой порученец перешел по камушкам через ручей, а ваш лейтенант скакнул и ногой дрыгнул.

– Эй, вояки, потише ругайтесь, – сказал Новиков, и голоса по соседству сразу смолкли.

В комнату вошел генерал Неудобнов, бледный человек с большим лбом и густыми, сильно поседевшими волосами. Он оглядел рюмки, бутылку, положил на стол пачку бумаг и спросил Новикова:

– Как нам быть, товарищ полковник, с начальником штаба во второй бригаде? Михалев вернется через полтора месяца, я получил письменное заключение из окружного госпиталя.

– Да уж какой он начальник штаба без кишки и без куса желудка, – сказал Гетманов и налил в стакан коньяку, поднес Неудобнову. – Выпейте, товарищ генерал, пока кишка на месте.

Неудобнов приподнял брови, вопросительно посмотрел светло-серыми глазами на Новикова.

– Прошу, товарищ генерал, прошу, – сказал Новиков.

Его раздражала манера Гетманова чувствовать себя всегда хозяином, убежденным в своем праве многословно высказываться на совещаниях по техническим вопросам, в которых он ничего не смыслил. И так же уверенно, убежденный в своем праве, Гетманов мог угощать чужим коньяком, укладывать гостя отдыхать на чужой койке, читать на столе чужие бумаги.

– Пожалуй, майора Басангова временно назначим, – сказал Новиков, – он командир толковый, участвовал в танковых боях еще под Новоград-Волынским. Возражений нет у бригадного комиссара?

– Возражений, конечно, нет, – сказал Гетманов, – какие у меня могут быть возражения... Но соображения есть, – замкомандира второй бригады, подполковник – армянин, начальник штаба у него будет калмык, добавьте – в третьей бригаде начальником штаба подполковник Лифшиц. Может быть, мы без калмыка обойдемся?

Он посмотрел на Новикова, потом на Неудобнова.

Неудобнов проговорил:

– По-житейски все это верно, от сердца говоря, но ведь марксизм дал нам другой подход к данному вопросу.

– Важно, как данный товарищ немца воевать будет, – вот в чем мой марксизм, – проговорил Новиков, – а где дед его Богу молился – в церкви, в мечети... – Он по думал и добавил: – Или в синагоге, мне все равно... Я так считаю: самое главное на войне – стрелять.

– Вот-вот, именно, – весело проговорил Гетманов. – Зачем же нам в танковом корпусе устраивать синагогу или какую-то там еще молельню? Все же мы Россию защищаем. – Он вдруг нахмурился и зло сказал: – Скажу вам по правде, хватит! Тошнит прямо! Во имя дружбы народов всегда мы жертвуем русскими людьми. Нацмен еле в азбуке разбирается, а мы его в наркомы выдвигаем. А нашего Ивана, пусть он семи пядей во лбу, сразу по шапке, уступай дорогу нацмену! Великий русский народ в нацменьшинство превратили. Я за дружбу народов, но не за такую. Хватит!

Новиков подумал, посмотрел бумаги на столе, постучал по рюмке ногтем и сказал:

– Я, что ли, зажимаю русских людей из особых симпатий к калмыцкой нации? – И, повернувшись к Неудобнову, проговорил: – Что ж, давайте приказ, майора Сазонова врио начальника штаба второй бригады.

Гетманов негромко произнес:

– Отличный командир Сазонов.

И снова Новиков, научившийся быть грубым, властным, жестким, ощутил свою неуверенность перед комиссаром... «Ладно, ладно, – подумал он, утешая самого себя. – Я в политике не понимаю. Я пролетарский военспец. Наше дело маленькое: немцев раскокать».

Но хоть он и посмеивался в душе над неучем в военном деле Гетмановым, неприятно было сознавать свою робость перед ним.

Этот человек с большой головой, со спутанными волосами, невысокий, но широкоплечий, с большим животом, очень подвижный, громкоголосый, смешливый, был неутомимо деятелен.

Хотя на фронте он никогда не был, в бригадах о нем говорили: «Ох, и боевой у нас комиссар!»

Он любил устраивать красноармейские митинги: речи его нравились, говорил он просто, много шутил, употреблял иногда довольно-таки крепкие, грубые слова.

Ходил он с перевалочкой, обычно опираясь на палку, и если зазевавшийся танкист не приветствовал его, Гетманов останавливался перед ним и, опираясь на знаменитую палку, снимал фуражку и низко кланялся наподобие деревенского деда.

Он был вспыльчив и не любил возражений; когда с ним спорили, он сопел и хмурился, а однажды пришел в злость, замахнулся и, в общем, в некотором роде надал кулаком начальника штаба тяжелого полка капитана Губенкова, человека упрямого и, как говорили о нем товарищи, «жутко принципиального».

Об упрямом капитане с осуждением говорил порученец Гетманова: «Довел, черт, нашего комиссара».

У Гетманова не было почтения к тем, кто видел тяжелые первые дни войны. Как-то он сказал о любимце Новикова, командире первой бригады Макарове:

– Я из него вышибу философию сорок первого года!

Новиков промолчал, хотя он любил поговорить с Макаровым о жутких, чем-то влекущих первых днях войны.

В смелости, резкости своих суждений Гетманов, казалось, был прямо противоположен Неудобнову.

Но оба эти человека при всей своей несхожести были объединены какой-то прочной общностью.

Новикову становилось тоскливо и от невыразительного, но внимательного взгляда Неудобнова, от его овальных фраз, всегда неизменно спокойных слов.

А Гетманов, похихатывая, говорил:

– Наше счастье, что немцы мужику за год опротивели больше, чем коммунисты за двадцать пять лет.

То вдруг усмехался:

– Чего уж, папаша наш любит, когда его называют гениальным.

Эта смелость не заражала собеседника, наоборот, поселяла тревогу.

До войны Гетманов руководил областью, выступал по вопросам производства шамотного кирпича и организации научно-исследовательской работы в филиале угольного института, говоря и о качестве выпечки хлеба на городском хлебозаводе, и о неверной повести «Голубые огни», напечатанной в местном альманахе, и о ремонте тракторного парка, и о низком качестве хранения товаров на базах облторга, и об эпидемии куриной чумы на колхозных птицефермах.

Теперь он уверенно говорил о качестве горючего, о нормах износа моторов и о тактике танкового боя, о взаимодействии пехоты, танков и артиллерии при прорыве долговременной обороны противника, о танках на марше, о медицинском обслуживании в бою, о радиошифре, о воинской психологии танкиста, о своеобразии отношений внутри каждого экипажа и экипажей между собой, о первоочередном и капитальном ремонте, об эвакуации с поля боя поврежденных машин.

Как-то Новиков и Гетманов в батальоне капитана Фатова остановились возле машины, занявшей первое место на корпусных стрельбах.

Командир танка, отвечая на вопросы начальства, незаметно проводил ладонью по броне машины.

Гетманов спросил у танкиста, трудно ли ему было добиться первого места. И тот, вдруг оживившись, сказал:

– Нет, чего же трудно. Уж очень я полюбил ее. Как приехал из деревни в школу, увидел и сразу полюбил ее до невозможности.

– Любовь с первого взгляда, – сказал Гетманов и рассмеялся, и в его снисходительном смехе было что-то осуждающее смешную любовь паренька к машине.

Новиков почувствовал в эту минуту, что и он, Новиков, плох, и он ведь умеет по-глупому любить. Но об этой способности любить по-глупому не хотелось говорить с Гетмановым, и, когда тот, став серьезным, назидательно сказал танкисту:

– Молодец, любовь к танку – великая сила. Поэтому ты и добился успеха, что полюбил свою машину, – Новиков насмешливо проговорил:

– А за что его, собственно, любить? Цель он крупная, поразить его легче легкого, шумит, как дурной, сам себя демаскирует, и экипаж балдеет от шума. В движении трясет, ни наблюдать толково, ни прицелиться толково нельзя.

Гетманов усмехнулся, посмотрел на Новикова. И вот сейчас Гетманов, наливая рюмки, точно так же усмехнулся, посмотрел на Новикова и сказал:

– Маршрут наш через Куйбышев лежит. Кое с кем удастся нашему комкору повидаться. Давайте за встречу.

«Вот только мне не хватало», – подумал Новиков, чувствуя, что жестоко, по-мальчишески, краснеет.

Генерала Неудобнова война застала за границей. Лишь в начале 1942 года, вернувшись в Москву, в Наркомат обороны, он увидел баррикады в Замоскворечье, противотанковые ежи, услышал сигналы воздушной тревоги.

Неудобнов, как и Гетманов, никогда не спрашивал Новикова о войне, может быть, стеснялся своего фронтового невежества.

Новиков все хотел понять, за какие качества Неудобнов вышел в генералы, и обдумывал жизнь начальника штаба корпуса, как березка в озере, отраженную в листах анкет.

Неудобнов был старше Новикова и Гетманова и еще в 1916 году за участие в большевистском кружке попал в царскую тюрьму.

После гражданской войны он по партийной мобилизации некоторое время работал в ОГПУ, служил в пограничных войсках, был послан учиться в Академию, во время учебы был секретарем курсовой партийной организации... Потом он работал в военном отделе ЦК, в центральном аппарате Наркомата обороны.

Перед войной он дважды ездил за границу. Он был номенклатурным работником, был на особом учете, раньше Новиков не совсем ясно понимал, что это означает, какие особенности и какие преимущества имеют номенклатурные работники.

Удивительно быстро проходил Неудобнов обычно долгий период между представлением к званию и получением звания, казалось, нарком только и ждал представления Неудобнова, чтобы подписать его. Анкетные сведения обладали странным свойством, – они объясняли все тайны человеческой жизни, причины успехов и неудач, но через минуту, при новых обстоятельствах, оказывалось, что они ничего не объясняли, а, наоборот, затемняли суть.

Война по-своему пересмотрела послужные списки, биографии, характеристики, наградные листы... И вот номенклатурный Неудобнов оказался в подчинении у полковника Новикова.

Неудобнову было ясно, что кончится война – и кончится это ненормальное положение...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.